

А. Петляков

90-е
лихие
годы

БАР



Тень, идушая следом

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

Один тоже в поле воин,
если ты, действительно, **ВОИН!**

18+

Александр Петляков
Тень, идущая следом

«Автор»

2026

Петляков А. А.

Тень, идущая следом / А. А. Петляков — «Автор», 2026

Середина 90-х годов прошлого столетия. Бывший капитан морской пехоты возвращается в родной город и видит разгул бандитизма и вымогательства на улицах. Пытаясь найти себя в новом времени, он, невольно, становится заложником ситуации, где ему придётся сделать для себя непростой выбор. В главном герое параллельно идёт борьба тех принципов, которыми он руководствовался в армии и его совестью, где он не может закрыть глаза на тот беспредел, что происходит вокруг. Уговаривая самого себя не вмешиваться, он занимается самообманом. В один из вечеров всё становится на свои места и он определяет для себя своё место в этом городе и в этом трудном времени. Только выбор этот не так прост, как ему казалось, а впереди - неизвестность, к которой он начинает свой нелёгкий путь. И назад уже не отступить!

© Петляков А. А., 2026

© Автор, 2026

Александр Петляков

Тень, идущая следом

Глава 1

Кабинет пахнет сургучом и застарелым табаком, будто в нём двадцать лет курили один и тот же «Беломор» и не открывали форточку. На столе у кадровика — стопка папок, чернильный прибор советского образца, треснутый, но живой. Ручка царапает бумагу с таким звуком, будто кто-то не спеша пилит доску. Я стою у окна, заложив руки за спину, и жду, пока капитан второго ранга Черных доведёт до конца свою писанину.

— Значит так, товарищ капитан, выслуга у вас — двадцать один год, три месяца. Льготная — само собой, за морскую службу. Пенсия будет что надо, не обидят.

Он бормочет ещё что-то про коэффициенты, про справку в военкомат по месту жительства, про то, что документы придут через месяц, может, два. Я не слушаю. Слова проходят мимо, как горная река мимо каменистых берегов, — не задерживаются, не оставляют следа. Я давно понял: если человек хочет тебя утешить цифрами, лучше не мешать ему это делать, дать закончить, кивнуть в нужном месте.

За окном плац. Серый бетон, разливованный известью, и на нём строится рота — моя рота, последняя, которую я довёл. Сто двенадцать человек, из которых я знаю в лицо каждого, помню, кто как держит автомат на бегу, кто боится высоты, а виду не показывает, кто плачет по ночам, вспоминая мать, а утром идёт в первой шеренге как штык. Старшина Дормидонтов гоняет их по этому плацу, голос у него луженый, слышно даже через двойное стекло. Я учил их не бояться. Не потому что страх — это плохо, страх — нормальная штука, у него есть смысл, он бережёт шкуру. Я учил их думать сквозь страх, головой, а не брюхом. «Боишься — думай, — говорил я им на плацу, в грязи, под дождём, — трус бежит, дурак лезет напролом, а солдат считает». Считает секунды до укрытия, считает патроны, считает, сколько до своих. Я вложил в них эту арифметику страха годами, по капле, и вот стою у окна, смотрю, как они маршируют без меня, и во мне что-то оседает вниз, как ил на дно реки после половодья.

— Подписывайте здесь и здесь, — говорит Черных, придвигая листы. — И вот тут, в уголке, распишитесь о получении.

Ручка у меня в руке тяжелее, чем должна быть. Я подписываю первый лист, второй, третий. Буквы выходят ровными, я всегда писал ровно, даже когда рука тряслась от холода в море, даже когда писал похоронки — почерк не подводил никогда, разве что душа подводила, но это другое дело, это внутри, наружу не выходит.

Черных забирает бумаги, складывает в синюю картонную папку с завязками, какими в этой стране скрепляют всё — от уголовных дел до личных судеб. Достает печать, дышит на неё коротко, будто целует, и с силой прижимает к листу. Щелчок. Короткий, сухой, как выстрел из малокалиберного пистолета в закрытом помещении. Звук такой обыденный, что не должен ничего значить, а значит всё. Двадцать один год строя, приказов, чужих жизней на моей ответственности, — и вот итог умещается в этот щелчок печати.

— Ну вот и всё, товарищ капитан, — говорит Черных, и в голосе у него что-то похожее на сочувствие, только он сам не понимает, чему сочувствует. — Свободны.

Свободен. Слово какое-то дурацкое, будто из другого языка. Двадцать один год я не был свободен, я был нужен, а это разные вещи, и нужность мне всегда нравилась больше.

Я беру фуражку со стола, надеваю, коротко киваю кадровику — без рукопожатия, он не заслужил, не за что, обычный писарь при штабе, — и выхожу из кабинета в коридор, где пахнет мастикой для пола и хлоркой. Иду к выходу мимо расписания нарядов на стене, мимо доски

почёта, где до сих пор висит моя фотография в чёрной рамке, будто покойника уже почтили, а он ещё дышит.

За воротами части, холодный воздух бьёт в лицо, пахнет морем и мазутом. Позади меня, за спиной, всё ещё слышен голос Дормидонтова, гоняющего строй, — «раз-два, раз-два», старая шарманка, которая будет крутиться и без меня, потому что воинская часть не про человека, воинская часть про систему, а система переживёт любого, даже лучшего из своих.

Я не оборачиваюсь. Не потому что не хочу посмотреть в последний раз на плац, на роту, на всё, что было моей жизнью дольше, чем моя собственная семья. А потому что нельзя. Обернёшься — и что-то в тебе развернётся следом, потянется назад, и ты застрянешь между тем, что было, и тем, что будет, как гвоздь, вбитый наполовину, — ни туда, ни сюда, только ржаветь.

Я иду вперёд, к остановке, где через двадцать минут должен быть автобус до вокзала. Шаг у меня ровный, спина прямая, лицо, наверное, спокойное. Внутри у меня, впрочем, то же самое затишье, что бывает перед штормом, когда море вдруг становится стеклянным, и опытный человек знает — это ненадолго.

Плацкартный вагон качает, как шлюпку в непогоду, только шлюпку я бы вывел из этой болтанки сам, а тут остаётся сидеть и терпеть. Колёса стучат по стыкам, и в этом стуке нет никакой закономерности, к которой можно привязаться, просто ровный бессмысленный молот, отсчитывающий километры до дома, которого, если по совести, у меня больше нет. Пахнет варёными яйцами — кто-то на соседней полке чистит их прямо в постель, скорлупа сыплется на простыню, и запах серы плывёт по вагону вместе с духом дешёвого одеколона и чужого перегара, застарелого, вчерашнего, того, что уже не пахнет весело, а просто пахнет.

Напротив меня, на нижней полке, сидит мужик лет пятидесяти, в спортивном костюме «Адидас», из тех, что теперь носят все подряд, хоть спортсмен, хоть барыга, хоть бухгалтер из собеса. Он назвался Толиком, торгует, как выяснилось, шмотками на воронежском рынке, и ехал в Хабаровск за товаром, а теперь возвращается, и весь путь он жалуется — сначала проводнице на чай, теперь мне, потому что больше некому.

— Вот раньше как было, — говорит он, расковыривая яйцо толстыми пальцами, — заплатил налог, торгуй спокойно. А теперь? Ты кому хочешь заплати, всё равно найдётся кто-то, кому ещё надо. Ко мне в прошлый месяц трое приходят, молодые, лет по двадцать, а смотрят так, будто уже за шестьдесят. Говорят: место твоё под нашей крышей теперь. Я говорю: у меня крыша есть, вон, шифер. Они не смеются даже.

Он замолкает, солит яйцо, кусает.

— И платишь?

— А что делать. Не заплатишь — ларёк сожгут, а то и самого. У Петровича вон сожгли, за углом от меня стоял, курей продавал, копчёных. Теперь там пепелище стоит, никто убирать не торопится, стоит для примера.

Я слушаю и не меняю лица, а внутри что-то откладывается само, без моего участия, как отмечаешь на карте огневые точки, — вот здесь минное поле, вот здесь возможный проход, вот здесь противник хозяйничает, а контроля нет вообще, только видимость контроля, декорация. В армии я бы назвал это разведданными и доложил в штаб. Здесь докладывать некому, штаба больше нет, есть только я и вагон, который несёт меня в город, где, судя по рассказу Толика, линии фронта не существует, а значит воевать не с кем, потому что враг повсюду.

— А милиция? — спрашиваю, хотя ответ знаю заранее.

Толик смеётся, коротко, зло.

— Милиция сама с этими же водку пьёт. У нас участковый на «девятке» ездит, а зарплата у него, сам понимаешь. На какие шиши, спрашивается?

Я киваю, будто соглашаюсь, хотя внутри у меня холодно, спокойно и очень ясно, как перед выходом на рубеж, когда всё уже решено, осталось только дожждаться сигнала. И тут, само собой, без спроса, всплывает плац, серое утро, туман над сопками, и рота стоит в четыре

шеренги, сто двадцать человек, и такая тишина, что слышно, как они дышат, все сто двадцать человек вместе, синхронно, потому что ждут моей команды, а без команды не двинется никто, ни один, потому что дисциплина — это не страх, дисциплина — это когда человек знает своё место в строю крепче, чем своё имя. Я тогда стоял перед ними и думал, что вот это и есть порядок, единственный настоящий порядок, какой я видел в этой стране: сто двадцать человек, готовых умереть по приказу, и ни один не сдвинется без него.

Здесь, в этом вагоне, порядка нет вовсе. Здесь каждый сам себе командир и сам себе трибунал, и Толик со своим шифером — рядовой без части, дезертир поневоле, потому что дезертировать ему было некуда, армия сама разбежалась. Дисциплина держала мир в порядке ровно потому, что кто-то один брал на себя ответственность за остальных, а остальные соглашались это терпеть, потому что без этого — хаос — то, что Толик описывает своим равнодушным, устоявшимся голосом человека, который перестал удивляться.

Двадцать один год я жил в системе, где приказ есть приказ, а сейчас приказы отдают те, у кого золотая цепь потолще и «мерседес» подороже, и никакой офицер этого не остановит, потому что офицеров тут не спрашивают.

Толик доедает яйцо, вытирает пальцы о простыню, зеваёт так, что хрустит челюсть, и через минуту уже спит, привалившись к стенке, приоткрыв рот, и лицо у него во сне совсем не такое, как днём — беззащитное, старое, будто он весь этот разговор держал в себе усилием, а сейчас усилие отпустило.

Я смотрю в окно. За стеклом темнота, редкие огни станций, силуэты каких-то заводов, потухших, будто вымерших, и я не узнаю страну за этим стеклом. Не потому что она изменилась — страны меняются, это нормально, — а потому что я в ней теперь никто, без роты, без приказов, без ста двадцати человек, ждущих моей команды. Просто пассажир плацкартного вагона, едущий домой, где меня, кажется, тоже никто не ждёт. Поезд стучит, стучит, стучит, и в этом стуке нет ничего, кроме расстояния, которое сокращается против моей воли.

* * *

Перрон бьёт в лицо запахом мазута, жареных семечек и чего-то кислого, будто где-то рядом опрокинули бочку. Толпа густая, плотная, движется рывками — челноки волокут клетчатые сумки, те самые, из которых торчат край одеяла или горлышко банки, сумки размером с них самих, и от этого люди кажутся сплюснутыми, вросшими в свою ношу. Кто-то толкает меня в плечо, не извиняется, бежит дальше. Зазывалы кричат из-за оцепления — «такси, недорого», «довезу куда надо», — и в этом «куда надо» слышится не маршрут, а вопрос без ответа.

Я стою минуту, привыкаю к шуму так, как привыкаешь к новой воде — сперва холодно, потом терпимо. За плечом баул, в кармане документы об отставке, в голове — тишина, будто из неё вынули один звук, и она теперь звенит на его месте. У выхода с площади — ларёк, железная коробка с решёткой в полстекла, за решёткой женщина в трёх кофтах, отсчитывает сдачу. Сигареты продаются не пачками — по одной, вынимает из блока и подаёт через щель, как патрон в подсумок. Рядом водка без акцизной марки, этикетка косо приклеена, будто клеили на ходу, в подсобке, вчера ночью. Очередь короткая, но плотная и совсем без разговоров — люди берут своё, суют деньги, уходят, не оглядываясь, словно сама очередь — вещь постыдная, и чем быстрее из неё выйдешь, тем меньше видел тебя город.

Дальше по улице — вывеска, красные буквы «ВИДЕОСАЛОН», и одна буква, «О», мигает через раз. Под вывеской, привалившись к косяку, трое. Кожаные куртки, надетые явно не по погоде, скорее по уставу какому-то своему; спортивные штаны с тремя полосками, кроссовки белые, слишком белые для этого асфальта. Стоят и ничего не делают — вот что странно. Не курят все разом, не разговаривают, просто стоят, и вокруг них на добрых три метра пусто, как будто у тротуара образовалась яма, а люди огибают её не глядя вниз, привычно, зная, что там.

Я смотрю на них ровно столько, сколько нужно, чтобы не смотреть слишком долго — старая рефлекторная работа, которую тело делает само, без моего участия. Средний повыше меня будет, но плечи узкие, качается на пятках — этот только на вид, силы в нём с гулькин нос, зато у левого, того что помельче, стойка другая, ноги пружинят, руки не болтаются, а держатся близко к телу, привычка человека, которого били и который сам бил. У третьего под курткой справа что-то оттягивает ткань, не бумажник, точно.

Я иду дальше, не сбавляя шаг, не прибавляя, точно так, как учили ходить мимо потенциального контакта — без демонстрации, что заметил, и без демонстрации, что не заметил. Вот это и есть первая странность, думаю я, обходя лужу возле бордюра. На флоте, в части, на любом рубеже — всегда знаешь, где кончается своя территория и начинается чужая. Колочка, посты, полоса вспаханной земли для следов, банальный шлагбаум — но линия есть, её видно, её можно пройти пальцем по карте. Здесь линии нет. Вот ларёк с водкой без акциза — чья территория? Вот три человека у сломанной вывески — тоже чья-то. А между ними — метров сто асфальта, разбитого, в колдобинах, и непонятно, чья это земля, ничья, или наоборот, каждого из них одновременно.

Останавливаюсь у перехода, пропускаю «жигуль» без глушителя, тот проезжает, стреляя, как одиночный выстрел, и никто на улице не вздрагивает — только я, по привычке, чуть подбираюсь. Пытаюсь честно, по-военному, разметить эту местность у себя в голове: где рубеж, где тыл, где передовая. Не выходит. Рубеж — там, где стоят трое в коже. Рубеж — там, где ларёк без лицензии. Рубеж — там, где вывеска мигает буквой «О», и там, где она не мигает вовсе, потому что и там, наверное, свой хозяин. Территория не имеет краёв, она вся сплошная, как ряска на пруду, и стоит опустить ногу в любом месте — увязнешь по колено в одном и том же. С кем тут воевать, если фронт нигде не обозначен, а значит — везде.

Я поправляю лямку баула на плече и иду дальше, мимо ларька, мимо троих у видеосалона, чувствуя на спине их взгляды — короткие, оценивающие, вроде того, каким я сам только что смотрел на них. Оценили, не заинтересовались, отвернулись — форма другая, повадка другая, этот, видно, не по нашей части. Их ошибка, но пока не моя забота. Иду и думаю: там, на флоте, я знал, где враг. Здесь враг стоит у стены, курит, ждёт, и пока непонятно, чей он вообще враг — города, порядка, или просто своей же соседней стены через квартал. Дом ещё далеко, а город уже успел сказать мне первое, что хотел сказать: тут не будет линии фронта. Придётся проводить её самому.

Асфальт здесь не ремонтировали, кажется, со времён Брежнева — плиты просели неровно, где-то торчат арматурные усы, где-то яма набрала воды и стоит зеркалом, отражая провода над головой. Я иду по обочине, потому что по тротуару идти труднее: каждые двадцать шагов — трещина шириной в ладонь, и в каждой второй что-то тёмное, то ли грязь, то ли мазут. Экономлю деньги, и на автобус не сажусь, хотя мог бы — просто привычка считать, что осталось в кармане, сильнее привычки экономить время. Время у меня теперь есть, оно моё, целиком, впервые за двадцать лет.

Сзади, со стороны перекрёстка, доносится звук мотора — низкий, ровный, дорогой, не то что дребезжащий «жигулёнок» на переходе. Оборачиваюсь без особого интереса. Чёрный «Мерседес» шестисотый, стёкла чёрные настолько, что в них отражается улица целиком, будто машина едет и одновременно не существует. Катится медленно, будто выбирает, останавливается у ларька метрах в тридцати впереди. Продавщица за стеклом ларька — молодая, в вязаной кофте, накинутой на плечи прямо поверх синего халата — меняется в лице раньше, чем открывается дверь машины. Раньше. Это я замечаю сразу, потому что для этого не нужно быть разведчиком — достаточно смотреть.

Останавливаюсь на секунду, не подходя ближе, руки в карманах бушлата. Из машины выходит один, второй остаётся за рулём. Тот, что вышел, в кожаной куртке нараспашку, идёт вразвалку, не спеша, будто у него всё время мира, и весь его вид говорит: спешить незачем,

потому что всё уже решено заранее. Продавщица достаёт из-под прилавка что-то, заворачивает, протягивает через окошко — без слов, без вопросов, будто дело давно налажено и обговаривать нечего. Он берёт пакет, не глядя внутрь, кивает не ей, а как бы воздуху, и идёт обратно к машине. Не моя война. Пока не моя.

Я стою и смотрю, как «Мерседес» отъезжает, как продавщица достаёт сигарету — руки чуть дрожат, — и думаю о том, что на флоте за такое построение, весь личный состав уложил бы лицом в грязь, и не по злобе, а чтобы вбить простую истину: когда рядом чужая сила, ты либо стоишь на своём, либо перестаёшь быть личным составом вообще. У меня в роте за меньшее — за косой взгляд на старшего по званию — краснели уши до вечера. А здесь целая улица, полсотни глаз из окон, из ларьков, из подъездов, видела всё, что я только что видел, и ни один мускул не дрогнул. Никто и не думал сопротивляться. Согласились заранее, задолго до того, как машина въехала на эту улицу в первый раз.

Иду дальше. У следующего перекрёстка, там, где раньше, я помню, стоял регулировщик с полосатой палкой, теперь просто светофор без света — коробка ржавеет на столбе, три потухших глаза. А рядом, у стены дома, стоит участковый, форма мятая, фуражка сдвинута на затылок, и смотрит он куда-то в сторону, в переулок, где ничего интересного нет, кроме мусорных баков. Смотрит слишком старательно, как смотрят люди, которые очень хотят, чтобы их сочли не заметившими ситуации. Прохожу мимо него в паре шагов, он даже не поворачивает головы. Может, правда занят своим переулком. Может, просто знает то же самое, что уже понял я: на этой улице есть порядок, но не его порядок, и лучше не путать одно с другим.

Иду дальше, а глаз сам, без моей воли, раскладывает картинку по полочкам — привычка боевого офицера, которую не выключить приказом.

Вот троица у видеосалона стоит так, чтобы видеть оба конца улицы одновременно, без ротации постов, значит, стоят долго и им нечего бояться со стороны. Вот мужик у пивной палатки кланяется — не в пояс, едва заметно, подбородком — кому-то, кто прошёл мимо в кожаной куртке, и тот даже не глядит в его сторону, принимает поклон как должное, как воздух. Вот баба с сумками переходит на другую сторону улицы, заведя тех же троих у видеосалона, — крюк метров в пятьдесят, только бы не проходить рядом. Никто не отдавал команду строиться. Никто не свистел в свисток, не объявлял построение. Всё сложилось само, без приказа, просто потому что каждый уже знает своё место в этом строю — знает лучше, чем солдат знает своё место в шеренге, потому что солдату можно послушаться и сесть на губу, а этим послушаться нельзя вовсе. Хорошая выучка, думаю я, шагая через очередную лужу-зеркало. Только выучили их не мы.

Дом уже виден в конце улицы — пятиэтажка, знакомая с детства, с обшарпанным козырьком над подъездом, — и я иду к нему, стараясь не думать о том, что где-то там, среди этих поклонов и переходов на другую сторону, мне придётся выбирать себе место. Потому что стоять снаружи строя долго не получится. Так не бывает.

Двор встречает меня качелями без сидений и оборванной цепью — обе ржавые, покачиваются от ветра, будто кто-то только что, прыгнул. Лампа над подъездом разбита давно, осколки так и не подмели, лежат в пыли, поблёскивают. На стене, там, где раньше висел почтовый ящик для всего подъезда, теперь надпись — размашистая, чёрным по штукатурке, три слова из той грамматики, которую я успел выучить за один вечер прогулки по городу. Смысл её понятен без перевода: здесь чужие не ходят, а если ходят — то знают правила.

Я стою секунду, читаю это как сводку с чужого участка. Потом иду к подъезду. Лестница пахнет кошками и сыростью, той особой сыростью, что заводится в домах, где давно никто не чинит трубы и не моет полы по расписанию. На третьем этаже дверь щёлкает — цепочка, узкая полоска света, чей-то глаз в щели. Смотрит на меня секунду, оценивает: высокий, в бушлате, с сумкой через плечо, лицо не отсюда и не из газеты. Дверь захлопывается тише, чем открылась. Кто-то там, за ней, решил, что лучше не видеть. Я не в обиде. Я бы на их месте тоже закрыл.

Свой этаж я узнаю не по номеру — цифры на двери давно облезли, — а по трещине в штукатурке над косяком, той самой, что была здесь ещё при отце. Ключ входит в замок туго, будто отвык от моей руки, поворачивается с сухим протестующим скрежетом. Дверь открывается внутрь, и я делаю шаг через порог в свою собственную квартиру, как в чужую казарму, которую только что сдал предыдущий взвод, забрав с собой всё, кроме стен.

Пусто. По-настоящему пусто, не по-фронтальному, где пустота хотя бы пахнет порохом и жизнью, которая только что здесь кипела. Здесь пустота выморочная. Ни шкафа, ни стола, ни занавесок на окнах. На месте, где стоял сервант, — прямоугольник на обоях, светлее остального, как контур тела на асфальте.

Я смотрю на этот прямоугольник и не чувствую ничего, что полагалось бы чувствовать, — ни злости, ни тоски, только холодную констатацию факта: жена забрала с собой всё, что можно было унести, и, значит, была права, когда решила, что здесь ей делать больше нечего.

Обои местами отклеились, свисают уголками, будто кожа на старой ране. Дочери сейчас уже четырнадцать. Я не считаю дни, сколько прошло с тех пор, как последний раз слышал, как она смеётся за стеной, — просто знаю цифру, как знают номер части, в которой служили когда-то. Знаю и не трогаю.

Ставлю сумку у порога — тяжёлый брезентовый мешок, в котором вся моя оставшаяся жизнь: пара форменных вещей, письма, которые никому уже не нужны, и то, что осталось от прежнего меня. Сажусь на подоконник, благо он широкий, ещё довоенной кладки, крашеная краска давно облупилась и колется под ладонью. Смотрю через мутное стекло вниз, во двор. Качели покачиваются сами по себе. Мальчишка лет двенадцати идёт через двор, обходя лужу по большой дуге, — привычка, такая же, как у той бабы на улице с сумками, обходившей троих у видеосалона. Значит, и здесь уже выучили карту, где можно ходить, а где лучше не соваться. Значит, и этот двор давно поделён, размечен невидимыми флажками, и я просто ещё не знаю, чей это участок.

Сижу и думаю: там, на флоте, у меня был устав. Тонкая книжка, в которой сказано, кто кому подчиняется, что можно, что нельзя, где кончается моя власть и начинается чужая. Была рота — сто двадцать человек, каждый на своём месте, каждый знает, зачем встаёт по тревоге и куда бежит. Был приказ — иногда дурацкий, иногда несправедливый, но всегда чей-то, всегда сверху, всегда с подписью, и ты либо выполняешь, либо отвечаешь по всей строгости. Была линия фронта — пусть невидимая, пусть условная, но она была, и я знал, с какой стороны стою.

Здесь нет ничего. Ни устава, ни роты, ни линии. Есть двор с качелями без сидений, надпись на стене, разбитая лампа и я — один, в пустой квартире, из которой вынесли всё, включая, кажется, и часть меня самого. Город внизу живёт по каким-то своим законам, я их пока не знаю, но уже вижу: они есть, они жёсткие, только написаны не в уставе, а на стенах и в глазах людей, которые слишком старательно смотрят в сторону. Никто не построит меня в шеренгу. Никто не отдаст приказ. Придётся самому решать, с кем воевать и за что, а это, оказывается, куда тяжелее, чем выполнять самый дурацкий приказ сверху.

Встаю, подхожу к двери. Закрываю её — сначала на замок, потом на задвижку, старую, ещё советскую, тугую. Металл входит в паз с сухим, коротким щелчком, и этот звук — первый за весь день, который я узнаю без усилия, без перевода, без разгадывания чужих правил. Хотя что-то в этом городе ещё говорит на моём языке.

Глава 2

Ремень вешаю на гвоздь у двери — тот же жест, что и десять лет назад в каюте, только там переборка была выкрашена шаровой краской, а здесь обои с рисунком, похожим на выцветшие ромашки. Пряжка с якорем цепляется за шляпку гвоздя, замирает, чуть покачавшись. Рядом с ней вешать больше нечего. Форма, две пары белья, полотенце, бритва — раскладываю всё

это по табуреткам и подоконнику, как по описи, хотя описывать, в сущности, нечего. Человек привыкает к минимуму быстрее, чем думает.

Комната пуста настолько, что шаги отдаются гулко, будто в кубрике после отбоя. Сажусь на подоконник, гляжу вниз. Двор — пятиэтажный колодец, каким их строили после войны, экономя место и заботу. Гаражи-ракушки жмутся друг к другу вдоль забора, крашенные суриком, местами уже облезшие до ржавчины. Возле одной из них — «Москвич», побитый жизнью до состояния музейного экспоната: капот примотан проволокой, стекло треснуто по диагонали, будто кто-то от души приложился по нему монтировкой. Краска на турнике у песочницы содрана до голого металла, слезла ключьями, но перекладина держится крепко, кто-то её всё же подваривал. Значит, находятся ещё во дворе те, кому не всё равно. Смотрю дольше, чем нужно для простого любопытства. Привычка глазами цепляться за детали, не спрашивает разрешения.

У подъезда напротив — трое. Стоят кучно, но не разговаривают, будто просто ждут. Одинаковые спортивные костюмы — «Адидас», три полоски, у одного олимпийка расстёгнута до пупа, майка, мятая. У всех троих одинаковая манера держать корпус: чуть развёрнуты плечом к улице, руки в карманах, ноги на ширине, будто вот-вот сорвутся, но никуда не срываются уже минут двадцать. Один жуёт семечки и сплёвывает шелуху себе под ноги, аккуратно, будто отмеряет территорию плевками. Ждут не автобус. Автобус здесь не ходит.

Смотрю на это и ловлю себя на том, что уже прикидываю сектора обзора — с их позиции просматривается вся арка, единственный выход со двора на улицу, да ещё и половина соседнего подъезда. Место выбрано не случайно, кто-то их сюда поставил с умом, не сами додумались. Пути отхода у них через арку и через щель между гаражами, я бы, наверное, тоже так встал. Отрываюсь от мысли и усмехаюсь — вслух, себе, в пустую комнату.

— Тоже мне, дозор!

Смешно даже не то, что они стоят, а то, что я это разглядываю с таким прилежанием, будто мне сейчас атаку планировать. Врага нет. Приказа нет. Роты нет. Есть три пацана в спортивных костюмах, которым, судя по позам, лет по девятнадцать-двадцать, и им, скорее всего, просто скучно и холодно, а не поручено охранять периметр от старого морпеха на пятом этаже. Мозг сам, без спроса, работает по старой программе: обстановка, противник, свои, местность. Программу не выключить рубильником, она вшита туда, откуда её теперь не достанешь, даже если бы захотел.

Один из троицы поднимает голову, смотрит вверх — не на моё окно конкретно, а вообще, на фасад, скучающим взглядом. Я не отодвигаюсь. Прятаться от чужого взгляда — последнее дело, сразу выдаёт, что ты кого-то боишься. Просто сижу и смотрю в ответ, спокойно, как смотрел бы на облако. Через секунду ему становится неинтересно, он снова опускает глаза и что-то говорит соседу, тот кивает, не оборачиваясь. Мальчишка, тот самый, что давеча обходил лужу по дуге, снова появляется в поле зрения — идёт от магазина, в руках пакет молока, качается на ходу. Проходит мимо троицы почти вплотную, не глядя на них и не здороваясь, будто их вовсе нет, будто это фонарный столб. Они его тоже не замечают, ноль внимания, ни слова. И вот в этом отсутствии всякой реакции с обеих сторон — вся суть. Значит, знакомы. Значит, давно установившийся порядок, где всем всё ясно без объяснений: этот пацан не по их части, этих троих можно не обходить, как лужу, без риска и без вопросов.

Сижу ещё немного, пока за окном не начинается смеркаться, и синие тени от гаражей не удлиняются через весь двор. Никуда не выхожу, ничего не выясняю. Разведка боем — дело хорошее, но не в первый день, когда ты ещё не знаешь ни местности, ни численности противника, ни того, есть ли вообще противник или просто трое от скуки маются под подъездом. Сначала смотреть. Запоминать, кто во сколько выходит, кто к кому заходит, какая машина сколько стоит во дворе, и чья она. Собирать картину медленно, по кусочку, как собирают карту минных полей — не с потолка, а сапёрным щупом, шаг за шагом, не торопясь и не подрываясь

раньше времени. Спешить мне некуда. Служба кончилась, семья кончилась, а времени теперь, кажется, ровно столько, сколько нужно, чтобы во всём разобраться не спеша.

Встаю с подоконника, задёргиваю штору — старую, застиранную, — и в комнате наконец становится по-настоящему темно, как в каюте на подлодке, где свет только тогда, когда сам его включишь.

* * *

Хлеб в этом дворе продаётся в ларьке через дорогу, обшитом крашеной жостью, с двумя окошками, будто это не торговая точка, а амбразура дота, повёрнутая на две стороны сразу. Одно окошко — сигареты и водка, второе — всё остальное: хлеб, спички, рыбные консервы с проржавевшей этикеткой.

Иду туда без спешки, руки в карманах куртки, привыкаю к тому, что теперь у меня опять есть маршрут, пусть даже такой мелкий, как будка за забором из профиля и очередь из трёх старух с авоськами. Встаю четвёртым. Впереди — тётка в пуховом платке, перед ней мужик в кепке, за прилавком продавщица лет пятидесяти, крашенная в темно-рыжий, с усталым лицом человека, который весь день стоит на одном месте и улыбается только тогда, когда это дешевле, чем спорить. Через дорогу, там, где вчера торчала троица, сейчас маячит один — тот самый, что смотрел вверх, на фасад дома, скужающим взглядом человека, привыкшего, что бояться должны его, а не он. В трениках с лампасами, куртка нараспашку, руки в карманах, идёт неторопливо, будто прогуливается по собственному саду.

Подходит к окошку сбоку, где сигареты, минуя очередь целиком, как будто её тут вовсе нет. Продавщица не спрашивает, что ему нужно. Открывает ящик кассы — старый, деревянный, с потёртой ручкой — и он сам, не она, запускает туда пальцы, вынимает несколько купюр, не считая, сминает в кулаке и убирает в карман. Ни слова не говорит. Она тоже молчит, только губы поджимает чуть плотнее, чем секунду назад, и продолжает отсчитывать сдачу мужику в кепке — тому самому, что стоял передо мной, — и делает это, я замечаю, немного быстрее обычного, будто торопится закрыть эпизод, стереть его из памяти очереди раньше, чем кто-то успеет о нём подумать вслух.

Парень разворачивается и уходит, не оглядываясь, так же неспешно, как пришёл. Ни угрозы в голосе, ни жеста — за всё время ни одного слова не произнесено, ни им, ни ею. Будто так и должно быть, будто это часть прейскуранта, вписанная где-то между ценой на хлеб и ценой на спички, только не на бумажке, а в воздухе, которым тут все дышат с рождения.

Тётка в платке смотрит себе под ноги, на растоптанный снег. Мужик в кепке разглядывает сдачу так внимательно, будто впервые в жизни увидел советские монеты. Никто не поворачивает головы туда, где скрылся парень в трениках, никто не переглядывается, не хмыкает, не шепчет соседу «во наглость». Тишина в очереди становится плотнее, чем была, но это не тишина возмущения — это тишина людей, которые давно выучили, что подобное лучше пропускать сквозь себя, не задерживая внимания, как пропускают мимо ушей мат в трамвае.

Я смотрю на это ровно, без удивления, как смотрел когда-то на минное поле с воздуха — красиво размечено, всё понятно, только ходить по нему нужно определённым образом и определённым людям. Здесь то же самое: карта уже расчерчена, просто расчерчена не сапёрами, а другими руками, и я на этой карте пока белое пятно, случайный человек с пятого этажа. Подхожу к окошку. Продавщица переводит взгляд на меня — быстро, с профессиональной оценкой роста, плеч, куртки, лица, — и что-то в этой оценке у неё меняется, я вижу это по тому, как чуть выпрямляется спина. Спрашивает, не поднимая голоса выше обычного:

— Вам чего?

— Хлеб. Один, чёрный. Две пачки «Примы».

Она берёт булку с полки, сигареты, кладёт на прилавок, называет цену — обычную, ту же, что вчера была на ценнике у входа, ни рубля лишнего. Отсчитываю мелочь, отдаю, забираю хлеб и «Приму». Никакого намёка на скидку за то, что я, возможно, видел то, что видел, и

никакого намёка на надбавку за то же самое. Со мной всё честно, потому что я ещё никто, не свой и не чужой, обычный покупатель с улицы, которого можно обслужить по прейскуранту без всяких добавлений.

Разворачиваюсь и иду обратно, мимо очереди, мимо тётки, которая так и не подняла глаз, мимо мужика с кепкой, разглядывающего сдачу. Хлеб под мышкой ещё тёплый, почти живой, и от этого тепла становится немного смешно — вот она, вся связь с миром на сегодняшний день: горбушка хлеба и картинка того, как чужой карман забирается в чужую кассу без единого слова возмущения.

Ничего не говорю, ни продавщице, ни очереди, ни себе самому вслух. Внутри — только фиксация, ровная, как запись в бортовом журнале: время, место, событие, свидетели, реакция свидетелей — нулевая. Приказа действовать нет, обстановка ещё не ясна до конца, и лезть с пашкой наперевес в первый же день на новом месте — последнее дело для человека, который двадцать лет учился сначала смотреть, потом уже стрелять.

Иду через двор к своему подъезду, хлеб греет подмышку через куртку, и думаю о том, что касса в этом ларьке, оказывается, вовсе не касса продавщицы. Она просто хранитель денег для кого-то другого, у кого руки длиннее, и привычка забираться в чужие карманы давнишняя, как этот самый ларёк из крашеной жести. Перекладываю хлеб под мышку поплотнее и поднимаюсь по лестнице, не торопясь, ступенька за ступенькой, будто впереди у меня целая жизнь, чтобы разобраться, кто в этом дворе хозяин, а кто просто позволяет себя обворовывать молча, за неимением другого выбора.

На третьем этаже сталкиваюсь с соседкой из сорок второй — та самая, с балкона которой позавчера свисало бельё, будто флаги капитуляции. Тётка лет пятидесяти пяти, в сером пальто не по размеру, тащит две сумки, набитые так, что ручки врезаются в пальцы добела. Одна сумка норовит развернуться и высыпать картошку прямо на ступеньки.

— Давайте помогу, — говорю, не спрашивая, беру у неё ту, что тяжелее.

Она вскидывает голову, смотрит настороженно, потом на моё лицо, потом опять на сумку в моих руках, будто прикидывает, не сбегу ли я с её картошкой в неизвестном направлении. Решает, что не сбегу.

— Спасибо, сынок, — говорит и идёт впереди, часто дыша.

Поднимаемся до пятого молча, я слушаю её одышку и скрип чужой обуви по бетону лестницы, эхо разносится по подъезду так, будто мы идём по трюму. У двери сорок второй она долго ищет ключи в кармане пальто, я ставлю сумку у ноги и жду, не тороплю.

— Вы к Валентине Петровне заселились, что ли? Она квартиру-то в аренду сдавала, — говорит соседка, наконец найдя ключ.

— Купил.

— А, ну и хорошо, значит, соседи теперь, — она вздыхает так, будто это меняет дело в какую-то важную сторону. — А то у нас тут не всякий приживается.

— Это почему же?

Она открывает дверь, забирает у меня сумку, но не спешит захлопнуть створку, стоит на пороге, оглядывается на лестничную клетку, будто там кто-то может подслушивать, хотя, кроме нас с ней, никого нет и звук шагов давно бы выдал чужого.

— Место у нас такое, — говорит она, понижая голос до полушёпота, будто делится не сплетней, а военной тайной. — Двор наш весь под Серёгой Косым. Он тут смотрящий. Ларьки, гаражи, всё под ним.

— А Косой под кем? — спрашиваю тем же тоном, каким спрашивал бы про расписание автобуса, без интереса, для проформы.

Она вдруг замолкает, смотрит на меня внимательнее, оценивает, стоит ли отвечать вообще. Потом, видимо, решает, что раз помог с сумками, значит не совсем чужой, и говорит ещё тише, почти одними губами:

— А Косой уже под Бордюром.

Имя произносит так, что я невольно вспоминаю сапёра из своей роты, который никогда вслух не называл мину миной, только "изделие" — суеверие такое, будто если не назвать вещь по имени, она тебя не заметит. У неё то же самое: имя выходит из неё почти без звука, одним движением губ, и она сразу же оглядывается ещё раз, проверяя, не отозвалось ли где-то что-то на этот звук.

— Бордюр, значит, — повторяю я вслух, нормальным голосом, нарочно, чтобы посмотреть на реакцию.

Она вздрагивает, будто я выстрелил из ракетницы в закрытом помещении.

— Тише вы, — шипит и снова смотрит через моё плечо, на пустую лестницу, — не дай бог кто услышит.

Я усмехаюсь про себя. Двадцать лет назад в подобном тоне люди говорили про особый отдел, теперь про уголовника из соседнего района — иерархия страха меняется, суть остаётся та же: не назови вслух, вдруг придёт.

— А участковый у вас тут есть? — спрашиваю, ничего не значащим тоном, будто просто заполняю анкету для себя, для порядка.

— Есть, как не быть, — она машет рукой, отмахивается, как от назойливой мухи. — Гаврилов. Только толку от него.

— Что не так с «толком»?

— А он сам под ними, чего вы хотите, — говорит она уже быстро, устало, будто эта фраза давно затёрта до дыр в её голове, произносилась много раз до меня и много раз ещё произнесётся после, кому угодно, кто спросит. — Приходит, бывает, к Косому водку пьёт. Все видят. Да и что ему сделать-то одному против них?

Она произносит это без злобы, без возмущения, просто как факт погоды, как то, что зимой холодно, а весной тает снег. Участковый под бандитом — не сенсация, не новость, а нормальный порядок вещей в отдельно взятом дворе отдельно взятого города, и меня вдруг забавляет собственная реакция — не удивление, а какое-то холодное узнавание, будто я давно знал эту схему, просто не видел её нарисованной именно так, именно этими словами, от этой конкретной тётки в сером пальто на площадке пятого этажа.

— Понятно, — говорю. — Спасибо, что дверь придержали.

— Вам спасибо, что помогли, — отвечает она, уже устало, разговор явно её вымотал больше, чем сумки с картошкой. — Вы уж поосторожней тут, новенький. У нас люди тихо живут, потому и живут.

Дверь захлопывается с коротким щелчком замка, и я остаюсь один на лестничной клетке, с этим самым щелчком в ушах, будто он подвёл черту под коротким разговором.

Стою секунду, слушаю тишину подъезда, пахнущую сыростью бетона и чужой стряпнёй из-за соседних дверей, и в голове у меня укладывается новый кусок карты, ровно, как патрон в обойму: Косой, Бордюр, участковый, который пьёт водку с бандитом вместо того, чтобы составлять протокол. Три звена одной цепи, и цепь эта тянется откуда-то из центра города прямо в этот двор, прямо к моему подъезду, прямо к ларьку с чёрным хлебом за честную цену. Никакой линии фронта здесь нет и не предвидится, потому что фронт этот давно уже сдан без единого выстрела, тихо, за рюмкой водки, и все, кто живёт в этом доме, знают правила игры лучше, чем я знаю устав. Подхожу к своей двери, и думаю о том, что участковый Гаврилов, кем бы он ни был, теперь тоже часть карты, только пометка на ней будет не такая, как у обычных смотрящих.

* * *

Новое утро. Выхожу из подъезда на свежий воздух — если можно назвать свежим то, что стоит между гаражами и мусорными баками нашего двора. Ларёк напротив, тот самый, с чёрным хлебом за честную цену, живёт своей утренней жизнью: продавщица в синем халате

раскладывает пачки сигарет, кто-то из соседей уже толкается у окошка за хлебом. Обычное дело, если не приглядываться.

Приглядываюсь. Двое в трениках стоят у прилавка, один облокотился локтем на дощатую стойку так, будто это его собственность, второй сплёвывает семечки прямо под ноги продавщице. Голоса не разобрать, но и не надо — язык тела говорит достаточно.

Продавщица кивает быстро, слишком быстро, руки её мельтешат над кассой, и я узнаю этот жест: так кивают не соглашаясь, а сдаваясь. Так кивал у нас на корабле салага, когда старшина объяснял ему устав кулаком.

И тут, будто по расписанию, из-за угла появляется участковый. Шинель нараспашку, фуражка сдвинута на затылок, идёт неспешно, вразвалочку, как человек, у которого впереди целый день и ни одной срочной заботы. Гаврилов — я уже знаю это имя, тётка в сером пальто с пятого этажа выдала мне его вместе со всей картой района.

Смотрю на него, жду, что сейчас произойдёт хоть что-то похожее на работу: окрик, замечание, хотя бы формальный вопрос про документы у этих пацанов.

Участковый на секунду замедляет шаг. Ровно на секунду, не больше — я считаю про себя, как считал когда-то время до взрыва, автоматически, без усилия. Один из парней в трениках, тот, что сплёвывал семечки, поднимает голову и смотрит на Гаврилова. Взгляд короткий, ленивый, без всякой угрозы в нём — а зачем угрожать, если и так всё понятно обеим сторонам.

Участковый смотрит в ответ, глаза его на мгновение будто гаснут, теряют всякое содержание, и он, просто, отворачивается и идёт дальше. Руки в карманах шинели. Плечи чуть сгорблены, как у человека, которому холодно, хотя на дворе не декабрь. Всё это длится секунд десять, не больше. Продавщица уже отсчитывает деньги парню, тот, что облокачивался на прилавок, забирает купюры не считая, привычно, как зарплату получает. Второй сплёвывает ещё одну шелуху и оба разворачиваются и уходят в сторону соседнего двора, не оглядываясь, потому что оглядываться незачем — здесь их никто не остановит.

Я стою у подъезда, руки скрещены на груди, и наблюдаю всю эту немую сцену от первого до последнего кадра, ни один мускул на лице не двигается. Годы службы приучили держать морду кирпичом даже когда внутри всё переворачивается, а сейчас внутри переворачивается ровно настолько, чтобы я успел отметить это ощущение и убрать его подальше, до времени. Всплывает армейское, само собой, без приглашения: приказ игнорировать нарушение — тоже приказ. Только отдаёт его не командир, у которого есть звёзды на погонах и ответственность за роту, а трусость, которая маскируется под понимание расклада сил. У нас на флоте за такое равнодушие человека списывали на берег без выходного пособия и без рекомендаций, а тут — идёт себе дальше, в форме, с табельным оружием на боку, и никто ему слова не скажет, потому что вся система построена так, чтобы он именно так и делал.

Гаврилов сворачивает за угол дома, туда же, куда ушли парни, и я почему-то уверен, что идёт он не патрулировать окрестности, а именно в ту сторону, где его, возможно, ждёт рюмка водки у Косого. Тётка не соврала. Она вообще, кажется, ничего в этом дворе не привирает — слишком устала, чтобы врать, слишком долго живёт по этим правилам, чтобы удивляться им.

Стою ещё немного, смотрю на опустевший ларёк, на продавщицу, которая уже вытирает прилавок тряпкой, будто ничего не произошло, будто это часть обычной утренней уборки наравне с протиркой стекла. Наверное, для неё так оно и есть. Три раза в месяц вытирать прилавок, отдавать деньги — норма жизни, привычка, вроде утреннего кофе, только пьют его не они, а Косой со своими бандитами.

Никакой линии фронта тут нет, отмечаю я про себя в который раз, без пафоса, без желания немедленно что-то предпринять, просто фиксирую факт, как фиксировал когда-то расположение огневых точек противника перед докладом командиру. Тыл давно сдан, и сдан не под давлением, не под огнём, а тихо, за рюмкой водки, добровольно, этаж за этажом, двор за дво-

ром, участковый за участковым. Гаврилов не первый и не последний в этом городе, кто выбрал сторону, где теплее и спокойнее.

Записываю это в ту же карту, что складывается у меня в голове с самого приезда: Косой, Бордюр, участковый — три звена одной цепи, и звенья эти держатся друг за друга крепче, чем держались бы под присягой. Никакого повода действовать я себе пока не даю. Просто стою, смотрю на ларёк, на дым сигареты, который тянется откуда-то из окна первого этажа, и думаю, что война, оказывается, бывает разной. Иногда линию фронта проводят не карандашом по карте, а молчаливым отворотом головы человека в форме.

Иду на рынок. Он гудит с самого утра: бабки с укропом, мужики с саженцами, кто-то тащит клетку с курами.

Прохожу мимо мясных рядов, где на крюках висят полутуши, обмотанные марлей от мух, которая не спасает, и где мясник в грязном фартуке рубит кость с таким звуком, будто это не рынок, а стрелковый полигон.

Иду не спеша, приглядываюсь. Острый глаз никуда не девается после отставки, только цели меняются: раньше искал растяжки и снайперов, теперь — кто здесь главный по деньгам.

Между рядами, ближе к выходу, парень в кожаной куртке останавливается у каждой третьей палатки. Ничего не говорит, просто протягивает руку, ему кладут в неё скомканные купюры, и он идёт дальше. Ни слова, ни расписки. Торговка с семечками отсчитывает без запинки, будто платит за свет и воду, привычно, как за коммуналку. Никто не смотрит парню в глаза. Смотрят мимо, в весы, в мешки с крупой, куда угодно, лишь бы не в лицо.

У прилавка с картошкой толкается народ, все хотят взвесить получше, подешевле, и я, обходя тётку с тележкой, сталкиваюсь плечом с мужиком в потёртой шапке-ушанке не по сезону. Он оборачивается буркнуть что-то резкое, и слова застревают у него на языке. Николай Иванович. Постаревший на добрых пять лет за те два года, что я его не видел, ссутулившийся сильнее прежнего, но глаза те же — цепкие, из-под кустистых бровей, которые он никогда не считал нужным подстригать.

Стоим друг напротив друга посреди рыночного гула, и на секунду весь этот рынок с его весами, курами и кожаными куртками куда-то отступает, будто выключили звук. Не удивление держит нас на месте. Просто слишком много воды утекло, слишком много всего случилось у каждого порознь, и теперь надо заново привыкнуть, что вот он, живой, стоит перед тобой. Он первый выныривает из этой паузы.

— Живой, значит, — говорит он, и в этом «значит» всё сразу: и вопрос, и облегчение, и упрёк за то, что не писал.

— Живой, — отвечаю я. — А ты чего в такой шапке в апреле? Заморозки объявили?

— Голова мёрзнет, — он машет рукой, будто отгоняет тему. — Возраст, Савелий. Не всем повезло сохранить твою комплекцию.

Смотрю на него, и внутри что-то отпускает, впервые за все эти недели в чужом городе. Не облегчение даже, а узнавание своего места в строю: рядом с этим человеком не надо ничего доказывать и ничего объяснять, будто и не расставались. Он тоже смотрит на меня, оценивающе, как когда-то смотрел перед строем, только теперь без формы, без права требовать доклада.

— Оброс, — говорит он. — а по глазам вижу — присматриваешься тут ко всему?

Не спрашиваю, откуда он знает. Он всегда знал больше, чем говорил, ещё, когда я был у него в подчинении, только тогда это называлось интуицией командира, а теперь, наверное, просто старостью, которая видит людей насквозь без лишних усилий.

Парень в кожаной куртке проходит мимо нас в третий раз, и Николай Иванович коротко, одним движением бровей, указывает мне глазами в его сторону, без единого слова — мол, видал, да? — и я киваю так же коротко, не желая обсуждать это здесь, среди чужих ушей, среди тёток с укропом, которые слушают всё и никогда ничего не подтвердят.

— Тут разговоры разговаривать не с руки, — говорит он тихо, беря меня под локоть, как будто мы оба понимаем одно и то же без объяснений. — Пройдёмся. У меня как раз картошка кончилась, идея удачная была тебя встретить.

— Случайность, — говорю я.

— Не бывает у нас с тобой случайностей, Савелий, — он усмехается, и в этой усмешке впервые за долгое время что-то живое, не искалеченное годами и городом. — только совпадения, которые вовремя происходят.

Забираем у прилавка два кило картошки, он расплачивается сам, не позволяя мне сунуться с деньгами, всё так же, как когда-то в части не позволял младшим офицерам платить за него в чайной. Идём к выходу с рынка, мимо парня в кожаной куртке, который провожает нас равнодушным взглядом, мимо участкового — не Гаврилова, другого, — который делает вид, что изучает витрину с семечками.

Николай Иванович молчит всю дорогу до ворот рынка, и я не тороплю его с разговорами. Знаю по старой памяти: то, что он собирается сказать, не для рыночной толчеи, и уж точно не для чужих ушей.

Идём вдоль пятиэтажек с обвалившейся штукатуркой, там, где балконы забиты хламом и старыми лыжами ещё с семидесятых, и Николай Иванович несёт сетку с картошкой так, будто это не картошка вовсе, а нечто важное, требующее осторожности. Он не спрашивает про Марину. Не спрашивает про дочь. Идёт себе, побряхтывая на подъёме тротуара, и это молчание значит для меня больше любого вопроса — он знает, что спрашивать не нужно, и от этого знания в груди становится чуть свободнее, будто расстегнули лишнюю пуговицу на воротнике.

— Николай Иванович, — говорю я, глядя на облезлый козырёк подъезда, — что тут вообще за порядок в городе? Я пару дней смотрю и не могу понять, тут фронт?

Он останавливается, перекладывает сетку в другую руку, смотрит на меня снизу-вверх — сам он ниже на голову, но смотрит так, будто сверху.

— Порядок один, Савелий, — говорит он. — Не лезь, и до тебя не долезут. Вот и весь устав.

— Это не устав. Это капитуляция!

— Это выживание! — отвечает он спокойно, без нажима, как будто повторяет прописную истину, надоевшую самому себе. — А устав пиши потом, когда научишься различать, где свои, где чужие. Тут этого больше нет.

Иду рядом. Рассказываю ему про участкового у ларька, того самого, что делает вид, будто изучает витрину с семечками, пока двое в трениках трясут бабу за прилавком. Рассказываю без эмоций, как докладывал бы обстановку перед строем: время, место, действие. Николай Иванович кивает, не перебивая, и в этом кивке — узнавание, а не удивление. Так кивают человеку, который в двадцатый раз пересказывает анекдот, который ты давно знаешь наизусть, только герои каждый раз меняются именами.

— У нас в Северном такой же был, Гриша Чернов, — говорит он, когда я заканчиваю. — Только он хоть стеснялся, сворачивал за угол. А этот твой прямо на месте стоит, семечки разглядывает. Значит, при должности крепко сидит, раз стесняться разучился.

— И что, никто не жалуется?

— Кому жаловаться, Савелий? Этому? — он усмехается коротко, без веселья. — Тут жалобная книга одна — кладбище. Записи туда вносят быстро, а вот прочитать их некому.

Идём дальше. Двор пуст, только пацан лет десяти катает по асфальту старую покрывку от велосипеда, и звук этот — глухое дребезжание резины по камню — почему-то успокаивает больше, чем любые слова. Я смотрю на Николая Ивановича сбоку, на его шапку не по сезону, на морщины, глубокие, как трещины на пересохшей земле, и думаю, что вот он, единственный человек в этом городе, перед которым не нужно ничего выпрямлять в спине. Ни докладывать, ни оправдываться, ни держать лицо. Когда-то он был моим командиром, а я его подчинённым,

и субординация была простая, армейская, понятная. Теперь нет ни званий, ни части, ни присяги, но что-то в том, как он идёт рядом, не спрашивая лишнего, не давая советов раньше времени, восстанавливает эту иерархию заново, только уже на другом основании. Не по приказу. По доверию, которое не выветрилось за годы и расстояния.

— Ты присматриваешься, — говорит он вдруг, не глядя на меня, — я же вижу. Глаз у тебя такой стал, оценивающий. Раньше на людей так не смотрел.

— Раньше люди были другие, Николай Иванович.

— Люди те же, — отвечает он. — Время другое.

Доходим до его подъезда, он останавливается у двери, перекладывает сетку снова, будто тянет время специально, чтобы сказать что-то напоследок, взвесив каждое слово, как взвешивал когда-то боеприпасы перед выходом.

— Ты, Савелий Петрович, — говорит он, и в этом полном имени-отчестве, произнесённом медленно, слышится не уважение даже, а предупреждение, тяжёлое, как гиря, — погоди пока геройствовать. Тут это дорого стоит. Дороже, чем ты думаешь.

Я киваю, не отвечая прямо, потому что отвечать здесь нечего: он не спрашивает, он ставит метку, и метка эта повисает между нами, как дым от закуренной папиросы.

Пропускаю фразу мимо, как пропускают мимо ушей всё, что не требует немедленного действия, но откладываю в ту часть памяти, где хранится всё важное, всё, что потом пригодится.

— Заходи вечером, — говорит он уже другим тоном, легче, — чаю выпьем. Расскажешь, как оно там, на гражданке. Хотя какая тут гражданка.

— Зайду, — говорю я.

Он входит в подъезд, дверь за ним хлопает с тем ленивым скрипом, что бывает только у советских дверных петель, не смазанных десятилетиями, и я остаюсь один во дворе, где пацан всё так же гоняет свою крышку, и звук её дребезжания теперь кажется единственным честным звуком во всём этом городе.

Глава 3

Руки пахнут гнилой картошкой. Запах вьелся под ногти, в кожу между пальцами, и сколько ни три их у ржавой колонки за складом, не отходит — овощебаза не отпускает так легко, даже когда смена закончена и в кармане лежат заработанные деньги, мятые, пахнущие тем же подвалом.

Восемь часов таскал ящики с картошкой, гнилой на треть, и никто не спрашивал, зачем бывший командир роты морской пехоты грузит гниль на склад, потому что здесь никому нет дела до того, кем ты был. Здесь важно, кем ты можешь работать.

Иду по Кольцовской в сторону дома, и вечер уже сгущается тем ранним апрельским сумраком, когда фонари ещё не горят, а солнце уже село, и город становится похож на выцветшую фотографию — контуры есть, а цвета вымыты.

Мимо, не сбавляя скорости, проезжает девятка с тонированными стёклами, чёрная, с низкой посадкой, музыка бухает изнутри так, что дребезжат стёкла.

Я даже не поворачиваю голову. За неделю в этом районе такие машины перестали быть событием — они как вороны на проводах, часть пейзажа, на которую перестаёшь смотреть после третьего дня. Раньше бы отследил номер, время, направление. Теперь просто отмечаю: девятая модель, тонировка глухая, антенна кустарная. И иду дальше.

Утром на рынке Николай Иванович сказал мне это же самое, только другими словами, стоя у прилавка с семечками и щурясь на солнце, будто оно било ему прямо в память.

— Ты присматриваешься, Савелий Петрович, — сказал он, — я же вижу это по глазам, оценивающий у тебя взгляд стал.

Я тогда промолчал, кивнул только, как кивал ему двадцать лет назад перед выходом на задание, но слова эти засели, как заноза под кожей, — не болят, но чувствуются при каждом шаге. Потому что он прав, чёрт возьми, прав абсолютно. Нет роты. Нет приказа. Есть только я, чужой город, бандиты на каждом углу и правило, которое я сам себе выдумал в первую же неделю, как единственный способ не сойти с ума и не наделать глупостей: смотреть, запоминать, не вмешиваться. Разведка без приказа на активные действия. Собирай данные, фиксируй расстановку сил, изучай маршруты и лица, но не лезь. Не твоя война. Не твой город. Не твоя рота. Правило хорошее. Правильное. Такое, за которое меня бы похвалил любой уважающий себя штабист. Только вот с каждым днём оно начинает жать сильнее, чем сама обстановка вокруг.

Смотрю на ларёк, где пацаны в трениках забирают выручку молча, без единого слова, будто это обычная плата за аренду воздуха, — и молчу. Смотрю, как участковый Гаврилов пьёт чай у Косого, глядя мимо всего происходящего, как смотрят сквозь стекло, — и молчу. Смотрю на девятку с антенной, что проехала сейчас мимо, и знаю, что внутри сидят не студенты, возвращающиеся с зачёта, а знаю — и молчу. Молчание становится профессией. Разведчик без приказа — это красиво звучит в теории, в казарме, за чаем с Николаем Ивановичем. На практике это значит идти домой каждый вечер с руками, пахнущими картофельной гнилью, и глазами, «набитыми» чужими преступлениями, которые ты не имеешь права остановить.

Странное чувство — не вина ещё, вина придёт позже, но уже сейчас, на этом отрезке от овощебазы до дома, есть какая-то тяжесть, будто несёшь на себе снаряжение, которое давно пора снять, а снять нельзя, потому что приказа на это тоже никто не давал.

Впереди, там, где Кольцовская упирается в остановку с покосившимся навесом и обклеенным старыми афишами столбом, толпится обычная вечерняя толчея — люди с сумками, кто-то курит, поглядывая на дорогу, ждёт ли троллейбус или просто стоит без дела.

Я прибавляю шаг, потому что дома, на пятом этаже хрущёвки без лифта, ждёт пустая комната, но зато с чаем, которым можно отбить вкус гнилой картошки изо рта, и с тишиной, в которой не нужно ничего фиксировать и запоминать.

Остаётся метров триста, и я уже почти перестаю думать о правиле, о Николае Ивановиче, о его тяжёлом, как гиря, предупреждении — думаю только о чае и о том, что завтра снова на овощебазу, — когда у самой остановки что-то в общей картине сдвигается не так, как должно.

Двое парней в трениках стоят по бокам от девушки и держат её за руки — не под руки, как ведут пьяную подругу, а именно держат, как держат груз, который норовит выскользнуть. Она не кричит. Дёргается плечом, пытается вырвать локоть, и в этом молчаливом сопротивлении есть что-то более тревожное, чем любой крик: она уже поняла, что кричать бесполезно. Один что-то тихо говорит ей на ухо и дёргает за руку к машине.

Рядом на остановке ещё человек пять. Тётка с сумками на колёсиках смотрит строго в сторону дороги, будто высматривает троллейбус, которого не будет ещё минут двадцать. Мужик в кепке достаёт сигарету и щёлкает зажигалкой с преувеличенным вниманием, как будто прикуривание — самое сложное дело на свете. Парень студенческого вида утыкается в раскрытую книжку. Никто не смотрит в ту сторону, где девушку тащат к машине, — и это не случайность, это выученный рефлекс города, в котором я живу вторую неделю. Не видишь — не отвечаешь. Отвернулся — уже почти не соучастник.

Машина — тёмная «девятка», задняя дверь у неё открыта заранее, до того, как парни подошли вплотную. Я фиксирую это на автомате, тем участком головы, который двадцать лет учили фиксировать такие вещи: дверь не открывают в последний момент, когда решают, что делать с добычей. Дверь открывают, когда знают заранее, кого, куда и зачем повезут. Значит, не пьяная разборка, не спор из-за долга, который решили закрыть силой прямо на улице. Заказ. Кто-то сказал этим двоим — вот она, вот время, вот адрес, куда везти. А может, просто, понравилась, но и здесь, спонтанно, уже всё с ней решено.

Николай Иванович сказал бы сейчас ровно то, что говорил три дня назад за чаем, глядя на меня поверх очков, будто уже тогда знал, что придётся повторять: «Савелий, ты не в воинской части. Тут нет твоего личного состава, нет приказа сверху, есть только ты и город, которому плевать, доживёшь ты до утра или нет. Не лезь».

Голос у него в такие моменты становится сухим, как у замполита, который отчитывает за самоволку, только вместо самоволки — вся моя оставшаяся жизнь. И этот голос сейчас звучит во мне отчётливо, с той же интонацией, с какой звучал за столом на кухне. Только рядом с ним, на полтона громче, тикает другой счётчик — не голос, а что-то более старое, из тех лет, когда счёт шёл не на дни и не на часы, а на секунды между «дверь открыта» и «дверь захлопнулась». Между «есть шанс» и «шанса больше нет». Этот счётчик не спрашивает разрешения у Николая Ивановича. Он просто отсчитывает: три, два — девушка вскидывает голову, и на секунду я вижу её лицо целиком — не искажённое ужасом, как в кино, а собранное, злое, с той упрямой складкой у рта, с которой смотрят люди, ещё не осознавшие до конца, что происходящее с ними реально.

Она снова дёргает рукой, парень слева сжимает крепче, роняет какое-то слово сквозь зубы — я не разбираю какое, да и не важно. Я всё ещё стою на месте. Мозг успевает произнести внутри, честно и по-уставному, весь список причин, почему нельзя: не моя война, не мой город, нет прикрытия, нет оружия кроме рук, есть участковый Гаврилов, который пьёт водку у Косого и наверняка знает в лицо каждого, кто сейчас окажется лежащим на асфальте, есть простое соображение, что мне сорок лет и что я обещал себе именно эту неделю прожить тихо. Список длинный, разумный, составлен человеком, который двадцать лет учил других не поддаваться первому импульсу.

Тело меня не слушает. Оно срывается с места на слове «два», ещё до того, как счётчик доходит до «ноль», и я успеваю поймать себя на мысли уже на середине пути через дорогу — не «я решил вмешаться», а «я иду», как будто решение приняли не в голове, а где-то в позвоночнике, там, где годами оседали команды «принять бой» и «не думать, действовать».

Мужик в кепке провожает меня взглядом и торопливо отворачивается обратно к своей сигарете. Тётка с сумками так и смотрит на пустую дорогу. Никто не издаёт ни звука. Асфальт под подошвами твёрдый, апрельский, ещё холодный после зимы, и шаги мои звучат гулко в этой странной, специально устроенной тишине, остановки, где семь человек молча решили ничего не видеть. Парень справа наконец замечает меня — за пару метров, слишком поздно для того, чтобы это имело какое-то значение.

Первый удар идёт в горло — коротко, без замаха, той короткой рубящей траекторией, которой в учебке ставят руку на манекен неделями, пока не перестанешь думать перед тем, как бить. Парень справа даже не успевает поднять руки. Он оседает беззвучно, хватаясь за собственное горло обеими ладонями, будто пытается удержать в себе воздух, которого там больше нет.

Второй реагирует быстрее — рука уходит за спину, к пояснице, и я не проверяю, что там, ремень или что похуже, потому что проверять некогда. Перехватываю запястье, разворачиваю его на себя всем корпусом и с силой бью ногой в бедро, чуть выше, туда, где кость встречается кость под неправильным углом. Хруст короткий, сухой, будто переломили сырую ветку через колено.

Парень заваливается набок, вскрикивает высоко, не по-мужски, и это тоже нормально — крик боли никогда не звучит достойно, кто бы что ни рассказывал в кино.

Девушка выдёргивает руку из ослабшей хватки и стоит секунду, а может, две, покачиваясь, как будто земля под ней ещё не решила, в какую сторону наклоняться. Смотрит то на меня, то на парня со сломанным бедром, то снова на меня — и в глазах у неё то самое, что я уже видел однажды на плацу у новобранца, которого чуть не задавило БТРом: не благодар-

ность и не ужас, а простое непонимание, что делать с телом, которое только что было готово исчезнуть, а теперь почему-то ещё здесь. Я не смотрю ей в глаза дольше, чем нужно.

— Иди, — говорю коротко и разворачиваю её плечом в сторону, противоположную машине, туда, где начинается более-менее освещённый участок улицы, ближе к остановке, ближе к людям, которые всё ещё делают вид, что ничего не происходит.

Она не спрашивает кто я, не спрашивает, что теперь будет, не благодарит — то ли сообщает достаточно быстро, чтобы понять: сейчас не время, то ли просто в шоке. Каблуки стучат по асфальту сначала неровно, потом всё быстрее, и через пару секунд она уже почти бежит, придерживая сумку, не оборачиваясь.

Двигатель у машины взревел раньше, чем я успеваю развернуться обратно. Водитель — тот, кого я толком не разглядел, тень за лобовым стеклом с сигаретой — газует и срывается с места, не закрывая дверь, не выкрикивая ничего своим, просто уезжает, бросив обоих на асфальте с той же лёгкостью, с какой бросают окурки. Заднее колесо проезжает в сантиметрах от вытянутой ноги парня с горлом, и я успеваю подумать: вот она, вся ваша хваленая бригадная солидарность, о которой я столько наслушался за неделю в этом городе. Парень с переломанным бедром скулит, зажимая ногу обеими руками, и на меня уже не смотрит — весь его мир сузился до точки боли где-то в кости. Второй лежит тихо. Слишком тихо.

Я подхожу к ним, приседаю рядом на корточки — не из сочувствия, из привычки, старой, отработанной годами настолько, что тело выполняет её раньше мысли, — и кладу два пальца ему на шею, туда, где должна пульсировать сонная артерия. Секунда. Другая. Есть — слабо, неровно, но есть, грудная клетка едва заметно вздымается под растянутой олимпийкой. Дышит. Просто вырубил от удара, гортань не пробита насквозь, кровью не булькает.

Я убираю пальцы и выпрямляюсь, а внутри — привычная, будто бы даже скучная мысль, которая не должна была бы возвращаться после стольких лет в отставке, но возвращается легко, как знакомый маршрут: проверил пульс, значит жив, значит одна проблема с плеч, придётся возиться меньше. Та же самая мысль, с той же самой интонацией сухого доклада, которую я произносил себе десятки раз там, где считать пульс было частью работы, а не исключением из правил тихой жизни. Не первый раз в жизни я так проверяю. Просто впервые, за несколько лет — здесь, на асфальте у автобусной остановки, в холодных апрельских сумерках, в городе, где я обещал себе не ввязываться ни во что, кроме собственного завтрака.

Мужик в кепке всё ещё стоит у столба, сигарета догорела почти до фильтра, но он так и не сделал ни шагу, ни в одну сторону. Тётка с сумками смотрит теперь прямо на меня — быстро, украдкой, и тут же отводит взгляд, будто увидела то, о чём лучше забыть до того, как об этом спросят.

Я стою над лежащим парнем ещё пару секунд, слушаю его хриплое, неровное дыхание и чувствую, как в затылке медленно ослабевает та самая пружина, которая взвелась ещё на середине дороги, когда счётчик досчитал до «два». Спокойствие приходит не сразу и не целиком, оно натекает откуда-то снизу, от ступней, будто из земли, — то самое спокойствие, которое я не испытывал так давно, что почти забыл его вкус: не облегчение, не гордость, а простое, тупое ощущение того, что дело сделано правильно и вовремя. Девушка уже скрылась за поворотом, я даже не разглядел толком её лицо во второй раз, не запомнил ни цвет куртки, ни высоту каблуков. Мне это и не нужно.

Автобус подходит с той стороны улицы, тормозит с обычным пневматическим вздохом, двери разъезжаются, и мужик в кепке, всё это время простоявший у столба с окурком, гаснувшим у самых пальцев, вдруг оживает, и бросается в него первым, будто именно ради этого автобуса и стоял здесь последние пять минут. Тётка с сумками — за ним, не глядя больше в мою сторону, торопливо, как будто боится, что я её окликну и заставлю что-то подтвердить. Остальные свидетели следуют за ней, возможно даже садясь не на свой маршрут, но оставаться на остановке, после всего что там произошло, никто не хочет.

Двери закрываются. Автобус уезжает, увозя всех, и улица снова становится обычной вечерней улицей — с лужами от утреннего дождя, с гулом далёкой стройки, с запахом сырого асфальта. Никто не обернулся. Никто не сказал ни слова ни мне, ни друг другу. Будто выключили и снова включили, а между этим ничего не произошло — ни звука удара, ни хрипа, ни девушки, которую пять минут назад волокли к машине силой.

Девушка вернулась. Стоит в паре шагов от меня, прижимает к груди сумку, которую, видимо, успела подобрать, и смотрит снизу-вверх с тем выражением, которое я уже видел не раз — не совсем страх, но что-то близкое, замешанное на растерянности и облегчении сразу.

— Я.... меня зовут...

— Не надо, — говорю я и поднимаю ладонь на уровень груди, не резко, просто обозначаю границу. — Иди домой.

Она замолкает, как будто я щёлкнул выключателем. Открывает рот ещё раз, но, видимо, что-то в моём лице отбивает у неё желание договорить, и она просто кивает, коротко, судорожно, и почти бегом уходит в сторону от того переулочка, откуда её тащили. Я провожаю её взглядом ровно до угла дома, дальше — не моё дело. Мне не нужно её имя. Имя — это то, за что потом можно зацепиться, вспомнить, начать спрашивать, где она живёт, всё ли с ней в порядке, не приходили ли к ней снова. Имя — это нить, а я не собираюсь оставлять за собой нитей.

Стою ещё несколько секунд посреди тротуара, и в голове сама собой всплывает фамилия — Гаврилов. Участковый, свой у Косого. Звонить ему сейчас, докладывать про двоих на асфальте у остановки — то же самое, что звонить самому Косому и вежливо предупреждать: скоро подъеду разбираться с остальными. Это даже не решение, которое надо принимать, — просто факт, вроде того, что вода мокрая. Был бы кто другой — может, и позвонил бы. Я уже неделю как знаю, чем пахнет участок в этом районе, и запах этот не про закон.

Парень с переломанным бедром продолжает стонать где-то за спиной, тише, будто силы кончаются вместе со звуком. Второй так и не пошевелился, лежит там же, дышит хрипло и мелко. Я не оборачиваюсь. Через десять минут, максимум пятнадцать, здесь будут свои — либо те же трое-четверо из подворотни у ларька, либо кто-то, кому позвонят из ближайшего окна. Заберут, довезут до кого надо, спишут на несчастный случай или разборки с чужими. Мне встречать в это незачем, и оставаться здесь незачем тоже — постою ещё минуту, и кто-нибудь решит, что я тоже участник, случайный свидетель, которого стоит на всякий случай запомнить в лицо.

Разворачиваюсь и иду в другую сторону, туда, куда изначально и шёл, до того, как дорогу мне перегородила иномарка с открытой дверью и девичий крик, оборванный чужой ладонью. Иду ровным шагом, руки в карманах куртки, спина прямая — так, будто просто возвращаюсь с прогулки, а не только что уложил одного парня на асфальт и, кажется, сломал второму бедро одним движением ноги, которое тело выполнило раньше, чем я успел об этом подумать.

Неделю назад я сидел на кухне и говорил себе — просто, ясно, без пафоса: не лезть. Смотреть, запоминать, делать выводы, но не лезть. Я даже знаю, зачем себе это говорил: потому что видел, куда ведёт другой путь, видел его достаточно раз, чтобы больше не хотеть проверять на собственной шкуре. Правило было простое, как устав: наблюдать — да, действовать — нет. Свой двор, свой подъезд, свой хлеб. Остальное — не моя война, потому что своей мне на всю оставшуюся жизнь хватит. И вот прошла ровно неделя, а я иду по вечерней улице, и за спиной у меня лежат двое, один из которых, может, никогда больше не сможет пройти по этой улице без палки. Правило, которое я сам себе выдал, «лежит» там же, на асфальте, рядом с ними — и мне почему-то не хочется его «подбирать».

* * *

Улицы пустеют быстро, как будто их выключают по очереди вместе с фонарями — один горит, следующий мёртвый, потом снова живой. У гаражей на Ключевой лает собака, ровно, без

злости, просто отмечает, что кто-то прошёл мимо. Асфальт под ногами ещё держит апрельскую сырость, и от этого шаги звучат глуше, чем должны.

Иду и жду, когда придёт то, что должно прийти. Знаю по опыту, что после такого бывает откат — руки начинают мелко дрожать, где-то под рёбрами разгорается муторная тошнота, а голова начинает без остановки прокручивать картинку: как летит нога, как хрустит, как парень заваливается на бок и хрипит. Это нормальная физиология, я через неё проходил не раз, ещё в роте, после каждого настоящего дела, а не учебной тревоги. Организм платит по счетам с задержкой, но платит всегда.

Жду. Ничего. Руки в карманах спокойны, как будто минуту назад я просто донёс сумку с рынка. Тошноты нет. Дрожи нет. Есть только ровное, почти забытое ощущение — то самое, что бывало после удачно снятого поста, после эвакуации без потерь, после того, как доклад уходит вверх и в трубке звучит короткое «принято». Работа сделана чисто. Всё встало на свои места без лишнего шума. Вот что странно: я ищу в себе вину и не нахожу её ни в одном кармане. Я всегда считал себя человеком, который расплачивается за каждое действие — не перед богом, в бога я не особо, а перед собственной башкой, которая потом ночью придёт и спросит: ты был прав? И обычно приходится отвечать честно, даже если ответ неприятный.

Сейчас башка молчит. Ей нечего спросить. Как будто вопрос был решён ещё до того, как я среагировал, — тело среагировало раньше мысли, и мысль потом просто согласилась, не споря. Странное дело — быть спокойным из-за того, что сломал человеку ногу.

Иду через дворы, мимо бельевых верёвок, провисших под сырым бельём, мимо ржавой качели, скрипящей без ветра — сама по себе, что ли, качается, или кот прошёлся.

Сейчас мне нечего сказать самому себе, потому что говорить не о чем — всё, что нужно, я уже сделал руками и ногами на остановке, а слова к этому давно не пришиты. Не спросил, как её зовут. Даже не посмотрел толком в лицо, помню только раскрытый рот, тушь, размазанную по щеке и то, как она отпрянула от меня почти так же, как от тех двоих, — будто не понимала, кто перед ней теперь. Мог бы спросить, довести до дома, услышать «спасибо», получить какую-то отдачу за то, что сделал. Не стал. И дело здесь не в равнодушии, хотя со стороны, наверное, так и выглядит — мужик оприходовал двоих, развернулся и пошёл дальше, будто выполнил план по хлебозаготовкам. Дело было не в ней. Она могла быть кем угодно — студенткой, продащицей из ларька, чьей-то женой. Я не спасал конкретного человека с конкретным именем, я не проходил мимо в тот момент, когда мимо можно было пройти. Вот и вся разница между тем, что я делал, и тем, что делают участковые вроде Гаврилова, — не в силе, не в смелости, а в том простом факте, что я не отвернулся, а он отворачивается каждый день, попивая водку у Косого.

Собака у гаражей замолкает, будто выговорилась. Где-то далеко скрипит трамвай на повороте, ржavo и протяжно, звук долетает через два квартала, растянутый ночным воздухом. Я иду домой, и мне не то чтобы хорошо — хорошо было бы неправильным словом, слишком лёгким для того, что случилось. Но и плохо не сказать. Просто ровно. Просто на месте. Как будто внутри что-то долго стояло криво, а сейчас встало так, как должно было стоять всё это время, ещё с той минуты, как я сошёл с поезда в этом городе и увидел, во что он превратился. Неделию назад я говорил себе — не лезть. Сегодня я лез, и мне не за что себя судить. Это и есть самое неприятное во всей истории: не то, что я сломал человеку ногу, а то, что я не жалею об этом ни секунды, и, кажется, уже не пожалею.

Дома я иду сразу в ванную, не включая свет в коридоре, — и без него понятно, где что стоит, недели хватило, чтобы квартира перестала быть, как бы, чужой. Кран открывается с натужным стоном, вода идёт сначала ржавая, потом чистая, холодная до ломоты в зубах.

Я мою руки долго, дольше, чем нужно, дольше, чем требует грязь, которой, собственно, и нет — просто механика, отработанная ещё в учебке: перед сном руки должны быть чистыми, что бы они за день ни делали. Мыло крошится в пальцах, серое, хозяйственное, от него пахнет

казармой, хотя казармы давно нет ни у меня, ни, наверное, у этого мыла. Под тусклой лампочкой без плафона, разглядываю костяшки. Правая рука разбита у указательного, кожа содрана лоскутом, из-под неё сочится что-то тёмное, почти чёрное в этом свете. Левая целая, только покраснела от того, как я держал того, второго, за грудки, прежде чем бросить на асфальт. Ссадина не болит — заболит утром, сейчас есть только глухое тепло, будто рука побывала в работе, а не в драке.

Я верчу кистью, сгибаю пальцы — сустав слушается исправно. Хорошо. Инструмент в порядке. Вытираю руки полотенцем, оно тут же намокает розовым по краю, и я иду в комнату, не зажигая свет и там тоже. Ложусь поверх одеяла, не раздеваясь толком, только стягиваю ботинки и бросаю их у кровати носками к двери — привычка, которую сам себе никогда не объяснял, просто так удобнее вставать по тревоге, даже когда никакой тревоги давно нет и не предвидится.

Потолок в трещинах, я их уже выучил наизусть за эту неделю — трещина слева похожа на реку с притоками, та, что над окном, тянется ровно, без изгибов, как трасса. Смотрю на неё и прикидываю, кто меня видел. Двое лежали, один точно не встанет сам ещё долго, второй, может, и запомнил лицо, а может, в такой момент не до лиц — темнело уже, фонарь у остановки не горел, я специально отметил это ещё, когда шёл мимо. Рост запомнят — метр девяносто с лишним, трудно спутать с кем-то другим. Плечи запомнят. А вот лицо в сумерках, да ещё когда тебе ломают что-то в организме — вряд ли. Город не маленький, но и не такой большой, чтобы это осталось совсем без последствий. Косой в своём дворе меня уже приметил, участковый Гаврилов, глядишь, тоже держит в уме высокого мужика. Сложить два и два для местных — минутное дело, было бы желание.

Я не боюсь, что сложат. Мне интересно, как быстро. Раньше у меня было простое правило, из тех, что не проговариваешь вслух даже себе, а просто держишь как устав: не лезть, пока не спросят. Спросят — помогу, кто бы ни спросил, старуха с сумками, пьяный сосед, ребёнок, потерявший мяч под машиной. Но сам не суюсь, не хожу искать, где мир неправильный, — предполагается, что мир достаточно неправильный и без моего участия, мне хватит забот с самим собой.

Сегодня меня никто не спрашивал. Спросила сама улица — тем, как отвернулись прохожие, тем, как девчонку тащили к машине, будто мешок картошки, а не человека, тем, как никто, ни один человек из десятка проходивших мимо, даже не притормозил шаг. Вот это меня и спросило. И я ответил, не раздумывая, будто вопрос был задан ещё раньше, а сегодня прозвучал только вслух. Значит, правило поменялось. Не я его менял — оно само переписалось, пока я стоял и смотрел на асфальт под ногами того, второго. Теперь спрашивать будет не обязательно. Теперь достаточно того, что я вижу.

Я закрываю глаза и почти сразу открываю снова — думаю про завтра, про то, что Николай Иванович спросит, как обычно, между чаем и разговором о какой-нибудь ерунде: «Ну что, воин, как оно тут у тебя?» Он всегда спрашивает так, будто не ждёт ответа, а на самом деле ждёт, и слышит, даже когда я молчу. Рассказать ему про остановку? Скажет — не лезь, скажет — тебе сорок лет, а не двадцать, и город этот не твоя рота. Скажет, наверное, то же самое, что и в прошлый раз про Косого: цена слишком высокая, Савелий, а ты один. Может, и промолчу. Не потому что стыдно, а потому что не хочу слышать, как он прав. Не сейчас.

За окном протарахтел последний трамвай, дребезжа расшатанными стёклами, и стало совсем тихо, только холодильник на кухне щёлкнул реле и загудел ровнее.

Я лежу и понимаю простую вещь: назад дороги нет. Не в смысле — не могу вернуться домой, съехать, уехать в другой город и жить соглядатаем где-нибудь ещё. Назад — в смысле к тому себе, что неделю назад шёл мимо ларька, отмечая про себя, кто кому платит, и топтался на месте, ожидая, пока его о чём-то попросят. Того меня больше нет, он остался лежать где-то на асфальте у остановки вместе со вторым бандитом. Мне бы полагалось бояться этого. Или

хотя бы тревожиться. Но я лежу, разглядываю трещину-реку на потолке и чувствую то же самое ровное, полное спокойствие, что и по дороге домой, — как будто внутри наконец встала на место деталь, которая всё это время торчала не там, и скрипевший до этого механизм, впервые, пошёл без перекоса.

С этим я и засыпаю — без снов, без ворочанья, ровно, как в тот последний год на службе, когда знал, что утром опять подъём, опять рота, опять дело, которое нужно делать, потому что больше некому.

Глава 4

Ларёк у остановки открывается в семь, а я прихожу к половине восьмого, когда очередь уже устоялась — три бабки с авоськами, мужик в спецовке, ожидающий своей пачки «Явы», и продавщица Люба, которую я знаю по имени только потому, что весь квартал зовёт её так же, без отчества, будто ей самой хочется помоложе. Хлеб беру серый, полбуханки, потому что целую всё равно не съем один. Стою третьим, слушаю, как хрустит целлофан у бабки впереди, и разглядываю трещину в стекле ларька — она идёт наискось, от угла к середине, заклеенная скотчем, который давно пожелтел.

— ...а он говорит, у Кольцовской, представляешь, ногу человеку сломали, — говорит Люба, не отрываясь от весов, взвешивая творог для покупательницы в синем плаще. — Прям кость. В больницу увезли, говорят.

— Кто ж это так? — спрашивает покупательница, и голос у неё тот особый, воронежский, где любопытство прячется за сочувствием, а сочувствие — за любопытством, и не разберёшь, чего больше.

— А кто ж знает. Братва теперь по дворам ходит, спрашивает. Серьёзные, говорят, ребята были, из наших, местные.

Люба заворачивает творог, взгляд у неё при этом не меняется, будто речь про погоду.

— Так что ищут теперь. Кто такой, откуда взялся?

Мужик в спецовке хмыкает себе под нос, не вмешиваясь, только качает головой — то ли осуждает, то ли завидует, то ли просто устал стоять.

— А второго-то что, тоже покалечили? — не унимается покупательница.

— Второго вроде так, оглушили только. Он и рассказал. Говорит, здоровый мужик, высокий, стрижка короткая, куртка тёмная. Не из наших, чужой какой-то. Военная выправка, говорит, как офицер прям.

Я стою и слушаю это описание себя же так спокойно, будто речь о ком-то из программы «Дежурная часть», о вчерашнем происшествии, случившемся не со мной, а рядом, через дорогу, через квартал. Лицо — оно у меня и так не из тех, что легко меняется, но сейчас я специально держу его ровным, той же плоскостью, с какой стоял на плацу под инспекцией, когда орали в лицо, проверяя, дрогнешь или нет.

Не дрогнул тогда, не дрогну и здесь. Только костяшка на указательном пальце ноет под бинтом — от холода ли, от вчерашнего ли, не разберёшь. Высокий. Стрижка короткая. Куртка тёмная. Военная выправка. Всё точно, всё про меня, будто фоторобот составили не по словам оглушённого пацана, а по паспорту. Быстро долетело. Я рассчитывал на день, на два — пока слух проползёт от остановки до соседних дворов, обрастёт подробностями, потеряется в пересказах. А оно долетело за одну ночь, добралось до ларька с хлебом в двух кварталах от моего дома, и продавщица Люба уже пересказывает его покупательнице в синем плаще с той же лёгкостью, с какой рассказывала бы про подорожавший сахар. Город маленький. Я это знал и раньше, но теперь знаю на собственной шкуре — как знаешь размер минного поля не по карте, а по тому, куда именно ступила нога.

— Так, — говорит Люба уже мне, — вам чего, мужчина?

— Хлеб серый, полбуханки. И «Приму», пачку.

Она подаёт, отсчитывает сдачу, не глядя особо в лицо — мало ли высоких мужчин в тёмных куртках в этом городе, не одна же особая примета на район. Но я всё равно чувствую, как в затылке чешется что-то, будто на меня уже смотрят с той стороны прилавка глазами, которых здесь ещё нет, но которые появятся

Можно было бы сейчас развернуться, пойти домой другой дорогой, обойти квартал стороной, сменить маршрут до магазина хотя бы на неделю. Логично было бы. По уставу — если менять маршруты движения после демаскировки, значит, менять. Но я беру хлеб, беру сигареты, кладу мелочь в карман и иду обычным шагом, тем же самым, каким шёл сюда, — не быстрее и не медленнее, потому что первое, чему меня учили ещё в учебке, — не показывай, что тебя задело. Собака чувствует страх по запаху, а этот город, судя по всему, чувствует его не хуже собаки. Пусть ищут. Я не прятался вчера у остановки и прятаться сегодня у ларька не собираюсь. Хочешь найти меня — ищи, я не в подвале сижу. Иду мимо трансформаторной будки, разрисованной чьими-то инициалами, мимо тополей и думаю только об одном: что вопрос теперь не в том, найдут меня или нет. Вопрос в том, что я стану делать, когда найдут?

Дверь Николая Ивановича не заперта, как обычно, и я толкаю её плечом, держа бутылку под мышкой.

— Кто там, кроме привидений, — говорит он из комнаты, не оборачиваясь.

Он сидит за шахматной доской один, фигуры расставлены наполовину, будто партия оборвалась на середине мысли. Так и играет с самим собой последние годы, я знаю. С кем ещё играть, если из живых знакомых остался я один, а я в шахматы не мастер и предпочитаю думать головой по другому поводу.

— «Столичная», — говорю, ставя бутылку на край стола, подальше от коня и слона. — Не «Кубанская», извини, в ларьке другой не было.

— Сойдёт. — он смотрит на бутылку, потом на меня, и я вижу, как что-то в его лице уже сложилось, ещё до того, как он открыл рот. — Ты садись. Чай будет, водка потом.

Он идёт на кухню, гремит чайником, и я сажусь напротив доски, трогаю пальцем коня, будто собираюсь сделать ход за отсутствующего противника. Косточка на указательном пальце ноет под бинтом, я утираю руку.

— Слышал уже, — говорит он из кухни, не повышая голоса, так что мне приходится напрягать слух. — Про остановку на Кольцовской. Мне Зинаида рассказала, она у сына в том доме была, сын говорит — весь квартал гудит.

Я молчу. Отвечать тут особо нечего, факт есть факт, слух долетел быстрее, чем я рассчитывал, и теперь долетел даже сюда, в квартиру старика, который из дома выходит раз в три дня за продуктами.

Он возвращается с двумя чашками, ставит одну передо мной, садится напротив доски на своё привычное место и не начинает ни выговор, ни лекцию про то, что я мог быть осторожнее. Просто смотрит, как я пью чай, слишком горячий, обжигающий губы, и молчит так долго, что я успеваю пересчитать все клетки на доске дважды.

— Зачем тебе это, Савелий? — спрашивает он наконец, и вопрос звучит не как обвинение, а как-то, что, действительно, хочет знать.

Я кручу чашку в руках, не спешу с ответом, потому что ответа у меня, если честно, толком нет. Есть только то, что было вчера: девчонка, которую тащат к машине, прохожие и люди на остановке, отвернувшиеся с той же лёгкостью, с какой отворачиваются от мокрого асфальта под ногами.

— Не смог пройти мимо, — говорю.

И это всё, что у меня есть. Ни философии, ни присяги, ни высоких слов про справедливость. Просто не смог, и точка. Николай Иванович кивает, но кивок этот не значит согласия. Он смотрит на меня дольше, чем нужно для простого кивка, и я вижу, как в этом взгляде что-

то тяжелеет, будто он взвешивает меня на весах, которых у него нет, но которыми он давно научился пользоваться без предметов.

— На флоте ты тоже не мог пройти мимо, — говорит он. — Только там у тебя был устав, приказ, границы. А здесь у тебя нет ничего, кроме себя самого. Понимаешь разницу?

— Понимаю, — говорю я, хотя не уверен, что до конца понимаю. Или уверен, но не хочу признавать это вслух, потому что признать — значит согласиться с тем, что дальше будет только хуже, а мне сейчас не до философии, мне до чая и до тишины в этой квартире, где хотя бы ничего не нужно объяснять.

Он не спрашивает больше ничего. Разливает водку по стопкам, мы пьём молча, за что — не говорит, я тоже не спрашиваю. Играет он потом сам с собой, двигая то белую пешку, то чёрную, я смотрю на доску и думаю о том, что старик прав: там были границы, здесь их нет, и провести их придётся мне самому, а какой ширины они получатся — я пока не знаю.

Когда собираюсь уходить, он провожает меня до двери, придерживает её рукой, будто не хочет отпускать раньше времени.

— Ты, Савелий, — говорит он вскользь, глядя куда-то в сторону лестничной клетки, а не мне в глаза, — раньше умел отступать вовремя. На службе. Помню, как ты роту с той высоты увёл, хотя мог ещё держаться час.

Он не добавляет больше ничего, просто отпускает дверь, и я иду вниз по лестнице, вслушиваясь в эхо собственных шагов между этажами. Слова эти цепляются во мне крепче, чем любая мораль, какую он мог бы прочитать. Умел отступать вовремя. Раньше.

Я выхожу во двор, вечер уже опускается синим по краям, и думаю, что старик, наверное, единственный человек в этом городе, кто заметил не то, что я сделал вчера, а то, чего я не сделал сегодня — не ушёл, не сменил маршрут, не спрятался. И неизвестно ещё, что из этого страшнее.

Квартира встречает меня темнотой, которую я не спешу разгонять. Сумерки за окном ещё синие, не чёрные, и в этом свете вещи в комнате теряют края, становятся мягче, чем есть на самом деле.

Я иду к шкафу — старому, советскому, с зеркалом, на котором амальгама местами облезла и превратила отражение в человека с проплешинами вместо лица. Нижний ящик открывается туго. Там, под свитерами, которые я так и не надел ни разу с переезда, лежит она. Тельняшка.

Достаю её так, как будто она может рассыпаться от неосторожного движения, хотя ткань крепкая, флотская, ей сносу нет. Разворачиваю на вытянутых руках, и полосы — синяя, белая, синяя — идут ровным строем, как рота на плацу, которую я когда-то водил. Запах бьёт раньше, чем я успеваю подумать о нём. Машинное масло, которым пропитывался весь кубрик. Соль, которая въелась в волокна где-то в Баренцевом море и не вымылась ни одной стиркой. И ещё что-то, чему нет названия, — годы, наверное. Годы, которых больше нет и не будет.

Сажусь на край кровати, держу тельняшку на коленях, как держат вещь умершего человека — с уважением и лёгкой неловкостью оттого, что она пережила своего владельца. Вспоминаю построение. Утро, ещё тёмное, прожектор бьёт по шеренге, и я иду вдоль строя, и каждый мой боец стоит так, будто это последняя проверка в его жизни. «Рота, для встречи флага!».

Там был приказ. Там был устав, который отвечал на любой вопрос раньше, чем я успевал его задать себе. Там был враг понятный, обозначенный, с координатами на карте. А вчера был просто асфальт. Мокрый, серый, с окурками у бордюра, и девчонка, которую волокут к машине, и люди на остановке, которые смотрели в другую сторону с таким усердием, будто это профессия. Никакого приказа. Никакой карты. Только моя рука, которая сама решила, прежде чем я успел спросить у неё разрешения.

Разглядываю полосы на тельняшке и пытаюсь примерить того человека — который водил роту, который знал, где фронт, а где тыл, — к этому, который стоит в чужом городе и решает

вопросы кулаками, потому что больше решать их нечем. Не сходится. Тот, прежний, никогда бы не позволил себе бить человека до хруста костей просто потому, что не смог пройти мимо. У того были рамки. У этого рамок нет, и он сам не знает, где их провести. Но и не расходится полностью. Потому что причина одна и та же, всегда одна: не мог по-другому. Что на высотке под огнём, когда роту уводил, хотя мог держаться, что вчера на остановке. Разница только в том, что раньше за этим стояла присяга, а теперь — ничего, кроме меня самого, как и сказал Николай Иванович. Это меня и тревожит. Не то, что я изменился, а то, что я, кажется, всё тот же, только присягу больше некому давать.

За окном совсем стемнело, фонарь во дворе моргнул и загорелся, бросив жёлтую полосу через комнату прямо на тельняшку у меня в руках. В этом свете полосы кажутся почти чёрными, будто выцвели за годы хранения в темноте ящика.

Встаю, иду к шкафу, но кладу тельняшку не туда, откуда достал. Вешаю её на спинку стула у окна, на самое видное место, там, где она будет попадаться на глаза каждое утро, когда я буду вставать, и каждый вечер, когда буду ложиться. Не знаю толком, зачем. Может, чтобы не забыть, каким был. Может, чтобы не соврать себе, каким стал. А может, просто напоминание — не бойцу, не офицеру, а тому, кто ещё остался под всем этим, — что фронт где-то есть, даже если линии на карте больше не проведены.

Вышел на улицу. Там уже темно, только окно первого этажа светится синим от телевизора да фонарь у детской площадки бросает жёлтый круг на разбитый асфальт. Сажусь на лавку у подъезда. Закуриваю. Дверь скрипит, через минуту, выходит сосед со второго — Пал Палыч, весь дом его так зовёт, хотя фамилию я так и не выучил. В трико, в фуфайке, накинутой на плечи, тапки на босу ногу, будто дальше подъезда идти не собирался.

— Не помешаю, Савелий Петрович? — садится рядом, не дожидаясь ответа.

— Не помешаете.

Достаёт из кармана фуфайки папиросы, мнёт одну, прикуривает от моей зажигалки. Руки трясутся, не то от возраста, не то от чего другого.

— Слыхал, вчера на Кольцовской кому-то бока намяли, — говорит он в пустоту, глядя на фонарь. — Из людей Косого, вроде.

— Не слыхал, — говорю.

— Ну и правильно, — кивает он с удовлетворением, будто получил нужный ответ на экзамене. — Оно и незачем слыхать. У нас тут кто много слышит, тот долго не живёт.

Молчим. Он затягивается, кашляет, снова затягивается.

— Вот вы человек новый, — говорит он потом, — может, ещё не в курсе, как у нас тут дом живёт. А дом у нас, Савелий Петрович, крышуете.

— Кем?

— Да теми же, с Кольцовской. Молодняк ихний, есть один, Клещом кличут, тощий такой, в спортивном ходит постоянно. Раз в месяц по квартирам стучит. Кто не дома — потом на почтовом ящике находит бумажку, сколько должен.

— И платите?

— А куда денешься? — Пал Палыч разводит руками, папироса чертит в темноте дугу. — Прошлым летом в четвёртом подъезде не заплатили, так стёкла все повыбивали за ночь, зимой в морозы стояли без окон, участковый бумагу составил, что хулиганы неуставленные, и всё, дело закрыли. А в позапрошлом году, слышал, у Востряковых почтовые ящики подожгли, все разом, вместе с квитанциями за газ.

Слушаю, кручу в пальцах окурков. Разбитая костяшка на правой руке уже подсохла коркой, тянет кожу, когда сжимаю кулак. Не показываю виду.

— Сколько платите?

— По пятьдесят рублей с квартиры, старыми считая, — говорит он и тут же поправляется, привычно, будто вслух пересчитывает каждый месяц. — По новым — червонец с носа. Пенсионерам вроде меня скидка, четвертной. Спасибо, добрые.

— Кому-платите-то? В руки?

— В ящик кладём, в подвале один такой стоит, железный, вроде почтового, только без прорези, дверца на замке. Ключ раз в месяц, третьего числа, приходит с ключом, забирает. И всё чинно, культурно, никто не орёт, не грозит. Просто знаешь: не положишь — стекло вылетит.

— А участковый? Гаврилов?

Пал Палыч смотрит на меня искоса, прищурившись, будто удивлён, что я фамилию знаю.

— А Гаврилов у них же и харчуеться, только с другого конца. Ему не деньгами, ему так, по-соседски — то бутылку принесут, то мяса кусок с рынка, а то и просто отвернётся, когда надо. Он от нас формально участок ведёт, а по сути — то же самое, только в форме.

Докуривает, тушит папиросу о край лавки, прячет окурок в спичечный коробок, аккуратно, будто у себя дома мусорить неудобно даже на улице.

— Вот такая у нас, Савелий Петрович, экономика, — говорит он с какой-то усталой усмешкой, без злобы, просто как о погоде. — Вы человек военный, служили, я же вижу. У вас там небось всё по уставу было, враг с одной стороны, свои с другой. А у нас тут не поймёшь, где чья сторона. Участковый с братвой водку пьёт.

Не отвечаю. Он встаёт, кряхтя, запахивает фуфайку.

— Ладно, пойду я, супруга зажала, скажет опять — на лавке с бандитом каким-то сидел, а я вон, с вами сидел, приличным человеком.

Улыбается своей шутке, шаркает к подъезду. Дверь хлопает за ним, и снова тихо, только телевизор синее в чужом окне да где-то далеко, за гаражами, лает собака.

Сижу ещё, гляжу на тёмные окна дома, где люди раз в месяц кладут в железный ящик в подвале деньги за то, чтобы им не выбили стёкла. Складываю в голове — остановка на Кольцовской, рынок с вымогателем, теперь вот подвал с почтовым ящиком без прорези. Три точки, а линия одна, прямая, как трасса на карте, только карта эта не военная, а моя личная, и я только вчера начал её вычерчивать.

Гаврилов в доле. Косой держит квартал. Молодняк ходит по подъездам с блокнотом, будто налоговая инспекция. Кто не платит — горит или бьют стёкла.

Встаю, отряхиваю штаны. Теперь я знаю, где я живу. Не адрес — а систему, по которой этот адрес существует. И, кажется, впервые за месяц в этом городе у меня появляется что-то похожее на ясность.

Свет на кухне гашу, оставляю только тлеющий огонёк «Примы» — курю у окна, форточка приоткрыта, холод начала апреля тянет по руке, а комната за спиной чёрная и тёплая, как трюм.

Отсюда, с пятого этажа, весь двор виден насквозь: качели без досок, гараж-ракушка Пал Палыча, сушится на верёвке чьё-то бельё, которое забыли снять на ночь, а может уже некому снимать. И «девятка», тёмная, то ли синяя, то ли просто грязная в темноте, стоит у соседнего подъезда третий час, как я успел заметить. Не двигается, не гаснут фары, просто стоит, двигатель работает — вижу пар из выхлопной трубы, тонкий, прерывистый, значит, кто-то внутри сидит и ждёт, а не спит и не ушёл покурить. Смотрю на неё дольше, чем нужно для простого любопытства, докуриваю сигарету до фильтра, гашу об жестяную банку из-под частика в томате, которую приспособил под пепельницу неделю назад.

Стёкла у машины тёмные, но не настолько, чтобы совсем ничего не разобрать: два силуэта на передних сиденьях, оба неподвижны, ни разговора не видно, ни жестикуляции — сидят и смотрят на мой подъезд. Или мне так кажется в темноте, потому что я уже настроен видеть именно это.

Минут пять ничего не происходит. Потом фары мигают коротко, будто кто-то тронул рычаг случайно, и «девятка» медленно, без резкости, отваливает от бордюра, разворачивается через двор и выезжает на улицу. В свете фонаря у арки успеваю зацепить глазом номер — три четвёрки в конце, слишком удобная комбинация, чтобы не забыть, — и профиль того, кто сидит на пассажирском: бритый затылок, куртка кожаная, воротник поднят.

Уезжают неспешно, как люди, у которых нет причин торопиться, потому что дело сделано. Стою у окна ещё немного, смотрю на пустой двор, на качели без досок, покачивающиеся от ветра, будто кто-то невидимый только что с них слез. Никакой паники не подкатывает, я проверяю это в себе специально, как проверяют оружие перед выходом — щёлкаю предохранителем внутри, придиричливо: страшно? Нет. Тревожно, но не так, как бывает у человека, который боится за свою шкуру, а так, как бывает у человека, который понял расстановку.

Слух дошёл. Кто-то на остановке видел, кто-то в переулке слышал, кто-то сложил два и два, и вот результат — машина под окнами, номер, силуэты, всё чинно, без стрельбы, без крика в форточку. Разведка боем. Приметили дом, приметили подъезд, теперь будут искать этаж, потом квартиру, потом фамилию. Меня отметили. Как отмечают дерево перед вырубкой — зарубка на коре, без спешки, зимой ещё срубят, а пока пусть стоит, пусть знает.

Иду к двери, проверяю замок — не потому что боюсь, что войдут ночью, среди ночи с монтировкой не ходят даже эти, а по привычке, вбитой ещё в учебке: перед сном позиция должна быть проверена, неважно, ждёшь ты гостей или нет. Дёргаю ручку, щёлкает язычок, врезной надёжный, ставил сам пару дней назад, старый советский, а не китайская пластмасса — такой ломом брать дольше, чем терпения у молодняка хватит. Проверяю цепочку, хотя цепочка эта картонная, для очистки совести, а не для дела. Гляжу в глазок — тёмная лестничная клетка, лампочка перегорела ещё на прошлой неделе, никто не меняет, ни ЖЭК, ни жильцы, привыкли жить в темноте, экономя на всём, включая свет над головой.

Возвращаюсь в комнату, ложусь не раздеваясь до конца, только ботинки снимаю и ставлю у кровати носками к двери. Свет не включаю. Гляжу в потолок, где трещина расплзлась звездой, и думаю: вот оно и случилось, то, чего я, если быть честным перед собой, ждал с того самого дня, как приехал в этот город и понял, что фронта тут нет, есть только территория, поделённая на квадраты, и я, сам того не заметив, вошёл в чей-то квадрат без пропуска. Назад дороги нет — не потому что кто-то отрезал, а потому что я сам, своей рукой, там, у остановки, эту дорогу перекрыл, ещё до того, как машина сегодня встала у подъезда. Это было решено раньше, чем я успел заметить машину. Машина — просто подтверждение, что решение принято правильно, потому что заметили и меня, значит, есть что замечать. Закрываю глаза. Внутри ни жалости к себе, ни сожаления, только спокойное, холодное чувство человека, который наконец перестал притворяться штатским. Завтра разберусь, чья это была «девятка» и откуда взялся номер с тремя четвёрками. А сегодня — просто спать, потому что уставший боец завтра хуже работает, а работать придётся, теперь я это знаю точно, без вариантов, без пути назад.

Глава 5

Утро без спешки: сначала кофе, потом дверь. Привычка проверять последовательность действий, а не действия сами по себе, — тоже родом из учебки, где хаос убивает быстрее пули.

Спускаюсь вниз, открываю дверь подъезда плечом, не рукой, чтобы рука оставалась свободной, хотя знаю: если что случится сейчас, у крыльца, среди бела дня, свобода руки уже ничего не решит. Двор осматриваю не глазами туриста, а глазами человека, который однажды отвечал за периметр в сто двадцать метров по фронту и знал в лицо каждый куст, из-за которого могли выстрелить.

Здесь кустов нет, есть песочница с отломанным бортом, гараж-ракушка Палыча со второго этажа, бельевые верёвки с бельём между двумя тополями, качели, скрипящие даже без ветра. Всё на месте. Всё, кроме одной детали. У бордюра, там, где вчера ночью стояла тёмная «девятка», земля рыхлая от вчерашнего дождя, и в этой рыхлой земле два чётких следа протектора, свежих, не размытых — значит, машина ушла уже под утро, когда дождь кончился, а не ночью, как я думал. Другая машина или та же, вернувшаяся, не разобрать, протектор похож на протектор, они все сейчас на одной резине ездят, но факт остаётся фактом: стояли здесь, стояли долго, судя по вмятости в грязи, и уехали недавно.

Присаживаюсь на корточки, будто шнурок завязываю, а сам меряю расстояние между колеями. Колёсная база чуть шире, чем у вчерашней «девятки» — или мне кажется, потому что вчера я смотрел из окна, а сегодня стою рядом, и перспектива другая. Неважно. Важно, что приезжали ещё раз, уже без меня, посмотреть, есть ли машина в гараже, горит ли свет, во сколько выходит хозяин. Разведка не заканчивается за одну ночь. Это я и без следов знал, но последствия всегда неприятнее самого события — как контрольный выстрел хуже первого.

— Здрасьте, — говорю Палычу, который как раз выкатывает из гаража свой «Москвич», кряхтя больше от возраста, чем от тяжести машины.

Пал Палыч кивает, не поворачивая головы полностью, только краем, будто боится, что если развернётся ко мне лицом, придётся ещё и говорить. Обычно он мужик разговорчивый, вчера ещё жаловался на трубу в подвале, прорвавшую в марте, сегодня — сухой кивок и взгляд мимо, в сторону гаражных рядов, будто там сейчас интереснее, чем на живом человеке. Понятно. Слух добрался и до Палыча, и до его жены, наверное, и до всего подъезда, а может, и соседнего тоже — двор маленький, языки длинные, а событие вчера было такое, что грех не рассказать за чаем. Мужик защитил девку от бандитов, ногу сломал одному, и вроде живой ходит, надо же. Одни после такого начинают уважать сильнее, здороваться крепче, руку жать дольше положенного. Другие, наоборот, шарахаются, как от заразного, потому что рядом с таким соседом опасно жить: сегодня к нему приезжали разбираться, завтра, глядишь, и по всему дому пройдутся с монтировкой, стёкла повыбивают, зачем нам такое счастье, сидели тихо, никого не трогали, а тут является отставник и лезет не в свои дела.

Палыч — из вторых. Оно и понятно, у него внуки, у него труба в подвале, у него своих забот полон рот, а тут ещё сосед с проблемами покрупнее, чем прорванная труба. Ладно. Переживу как-нибудь без Палычевой дружбы.

Иду через двор к остановке, не меняя маршрута, хотя мысль такая мелькает — свернуть переулком, обойти открытое пространство, раствориться в проходных дворах, как учили когда-то на случай, если за тобой следят. Мысль мелькает и гаснет сама, потому что менять маршрут — значит признать, что прячешься, а прятаться я не собирался ни от Косого, ни от его людей, ни от той самой «девятки» с тремя четвёрками в номере. Пусть смотрят. Пусть считают следы у моего подъезда сколько влезет, хоть каждую ночь пусть приезжают на экскурсию — я как ходил на работу через этот двор, так и буду ходить, потому что менять привычки из-за чужого страха — последнее дело, а страх этот не мой, это их страх, просто выражается он через мою осторожность, если я поддамся.

Вспоминаю разговор с Николаем Ивановичем, короткий, за чаем, минут на пятнадцать всего, но засевший в голове крепче любого урока в учебке. Сидел он тогда, как обычно, прямой, несмотря на возраст, будто в спине арматура вместо позвонков, и спрашивал не о деталях — где, как, сколько их было, — а один только вопрос задавал, простой, без нажима: «Зачем тебе это, Савелий?» Я тогда не ответил. Промычал что-то про «не мог пройти мимо», и Николай Иванович кивнул, будто принял ответ, хотя оба знали — ответ пустой, отговорка, а не причина. Причину я и сам сформулировать не смог бы, потому что она не в словах живёт, она в чём-то другом, глубже, в том месте, где раньше был устав, а теперь пусто и надо чем-то заполнять.

Вопрос остался висеть без ответа, как невыполненная задача в журнале боевых действий: пункт открыт, срок исполнения не указан.

Дохожу до остановки, автобуса ещё нет, стою, гляжу вдоль улицы туда, откуда он должен появиться, и думаю: слух дошёл дальше, чем я рассчитывал, если даже Палыч шарахается. Значит, разговор уже не в переулках идёт, а по всему кварталу, может, и дальше. Значит, те, кому надо, тоже узнали, и вопрос теперь не «если придут», а «когда». Ладно. Пусть приходят. Я не гость на этой земле, чтобы прятаться от хозяев, тем более от таких хозяев.

Автобус довёз до угла, дальше пешком, мимо ларька, где Люба торгует сигаретами поштучно и семечками в кульках из старых газет. Беру хлеб, пачку индийского чая со слонем, сдачу мелочью ссыпаю в карман, не пересчитывая.

Обычный вечер, обычная сумка, из тех, что бывают у людей, у которых нет ничего, кроме работы и дороги домой. Двор появляется из-за угла дома, и я вижу их раньше, чем они видят меня — привычка, въевшаяся не за двадцать лет службы, а за первый же год, когда невнимательность стоила Дрюне Суханову два пальца на левой руке.

Трое у подъезда. «Девятка» та же, что стояла ночью, только теперь без темноты, которая её укрывала, — просто ржавая машина с помятым крылом, прислонённая к ней спина в спортивной куртке цвета мокрого асфальта. Двое других курят рядом, не разговаривая, экономя слова, как экономят патроны перед делом, которое считают решённым заранее.

Подхожу не сворачивая. Свернуть — значит признать за ними право стоять здесь как хозяевам, а этого права у них нет, потому что подъезд мой, и двор мой, и вечер этот тоже мой, оплаченный тем, что я в нём живу, а не тем, что кто-то решил обложить его данью.

Тот, что постарше, «отлепляется» от «девятки». Нос у него сломан давно и неправильно сросся, свернул чуть влево, придавая лицу вечное выражение подозрительности, будто он всё время принимается к чему-то тухлому.

— Ты тот, кто Лёхе ногу сломал, — говорит он.

Не спрашивает. Утверждает, с той уверенностью, с какой инвентаризацию проводят: пункт первый, пункт второй.

Не отвечаю сразу. Ставлю сумку на асфальт, аккуратно, чтобы хлеб не помялся — привычка, глупая в такой момент, но руки делают своё, пока голова считает: трое, один у машины сзади, двое спереди, у ближнего в кармане куртки что-то оттягивает ткань справа, не пистолет, слишком плоское для пистолета, скорее нож или кастет.

Освобождаю руки. Не сжимаю кулаки — рано ещё, рано показывать, что понял, куда идёт разговор. Просто стою, чуть расставив ноги, вес равномерно, как учили, как сто раз отработывали на плацу и потом в других местах, куда учебка не заглядывала.

— Ты не ответил, — говорит «сломанный нос», делая шаг ближе.

От него пахнет сигаретами и чем-то сладковатым, дешёвым одеколоном, который продают у того же ларька, где я только что брал чай.

— И не собираюсь, — говорю я.

Он кривится, будто ждал другого ответа, будто в его сценарии на этом месте должно было прозвучать что-то оправдательное, а вместо этого тишина, которую я не собираюсь заполнять.

— Ты неправильно себя ведёшь, мужик, — говорит он, и в голосе появляется та особая интонация, знакомая по всей стране: смесь угрозы и почти отеческой заботы, будто он предупреждает меня не о том, что сделает, а о том, что я сам себе делаю.

— Лёха теперь с ногой в гипсе. Может, больше ходить не сможет. Косой недоволен. Тебе бы извиниться. Или заплатить, если извиняться не умеешь.

Двое его товарищей синхронно затягиваются, выдыхают дым в сторону, не сговариваясь, — видно, что не первый раз стоят вот так, у чужого подъезда, зачитывая один и тот же текст, отработанный, как строевая песня.

Смотрю на него, на его свёрнутый нос, на кожаную куртку, растянутую на животе, который скоро перестанет помещаться в спортивные костюмы, и думаю о том, что в этом городе слово «извиниться» давно поменяло значение. Раньше извинялись за то, что сделали не так. Теперь извиняются за то, что живы и не заплатили за это заранее.

— Идите домой, — говорю я, ровно, без нажима, тем же тоном, каким когда-то отдавал команды роте перед высадкой, когда лишние эмоции только мешают делу. — Пока можете идти сами.

Пауза после этих слов длится ровно столько, сколько нужно, чтобы до сломанного носа дошёл смысл сказанного, и это время работает не на них. Он моргает раз, другой, будто фраза застряла где-то на входе и требует перевода на понятный язык. Потом лицо меняется, подозрительность уступает место злости, чистой, незамутнённой размышлениями, злости человека, которому только что сказали то, чего никто не говорил ему уже очень давно.

— Ты чё, самый умный? — начинает он, и правая рука уже тянется к карману, откуда торчит тот самый плоский предмет, а тот, что стоял у машины, отталкивается от капота, и третий гасит сигарету щелчком, отбрасывая окурок в сторону моей сумки с хлебом. Дальше слова заканчиваются.

Рука с ножом идёт снизу-вверх, коротко, без замаха, так, как учат в подворотнях, а не в спортзалах, и в этом её опасность — предсказать замах нельзя, потому что замаха нет. Но тело уже ушло с линии, ушло раньше, чем я успел это осознать, качнулось влево и назад, плечом вперёд, тем движением, которое вбивали в меня три года на плацу и потом ещё пять лет там, где плац заканчивался и начиналось что-то другое. Лезвие проходит там, где секунду назад было мое подреберье, и «сломанный нос» по инерции проваливается вперёд, теряя равновесие, а я уже разворачиваюсь на пятке, локоть выходит навстречу тому, кто заходит со спины. Слышу его раньше, чем вижу, — шаркающий шаг по асфальту, дыхание через рот, — и локоть входит точно туда, куда шёл, в стык ключицы и плеча, и звук получается такой, будто переломили сухую доску о колено. Он оседает молча, без крика, только выдох, длинный, со свистом, и это единственный звук, который он вообще успевает издать за весь вечер.

Третий, тот, что стоял у машины и молчал всё это время, наконец решается, и рука у него движется к поясу, туда, где под кожаной курткой прятался травматический пистолет, куплен, наверное, тем же порядком, что и куртка, — с рынка, у знакомого знакомых, без документов и без разрешения. Он даже успевает вытащить его наполовину, и в этот момент я понимаю, что времени на раздумья нет, потому что раздумья — это роскошь, которую позволяют себе люди, не служившие там, где я служил. Удар идёт в горло, ребром ладони, коротко, экономно, без замаха, и он падает так, как падают мешки с песком, — всем весом сразу, без попытки сгруппироваться, и пистолет вылетает из руки и замирает у бордюра.

Тишина после этого длится ровно два вдоха. Я слышу собственное дыхание, ровное, почти незаметное, будто и не было ничего, кроме прогулки до подъезда с сумкой хлеба и заваркой. «Сломанный нос» снова поднимается, медленно, опираясь одной рукой об асфальт, другой шаря рядом с собой, ищет нож, который выронил при падении, и находит его, и снова тянется вперёд, уже не с прежней уверенностью, а с той обречённой злостью человека, который понимает, что проигрывает, но не умеет остановиться.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.